

ТЕНЬ ВОРШУДА

Мултанское дело



18+

И. Ржев

Александр Булгаков

ТЕНЬ ВОРШУДА

(МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО)

<https://litres.ru/74690374>

SelfPub; 2026

Аннотация

Весна 1892 года. На глухой болотной гати в вятских лесах находят обезглавленное тело нищего странника Конона Матюнина с вырезанными сердцем и легкими. Уездная полиция и честолюбивый прокурор Раевский спешат объявить убийство языческим жертвоприношением. По ложному навету в острог бросают крестьян-удмуртов из села Старый Мултан. Пытками соленой сельдью, дыбой и балаганной «медвежьей присягой» следствие добивается каторжного приговора.

Но на защиту обреченных стариков встают лучшие умы России: писатель Владимир Короленко, обер-прокурор Сената Анатолий Кони, златоуст адвокатуры Николай Карабчевский, скромный защитник Михаил Дрягин и судебный медик профессор Феокист Патенко. Четыре года длится беспримерная битва науки, права и совести против полицейского подлога и вековых предрассудков.

Историко-судебный роман «Тень Воршуда» основан на подлинных документах знаменитого Мултанского дела (1892–1896), потрясшего всю Российскую империю.

Александр Булгаков

ТЕНЬ ВОРШУДА (МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО)

ТЕНЬ ВОРШУДА

(МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО)

Историко-документальный и судебный роман

в пяти частях с эпилогом

(По подлинным материалам следствия и трех судебных процессов 1892–1896 годов)

Весна 1892 года. На глухой болотной гати в вятских лесах находят обезглавленное тело нищего странника Конона Матюнина с вырезанными сердцем и легкими. Уездная полиция и честолюбивый прокурор Раевский спешат объявить убийство языческим жертвоприношением. По ложному навету в острог бросают крестьян-удмуртов из села Старый Мултан. Пытками соленой сельдью, дыбой и балаганной «медвежьей присягой» следствие добывается каторжного приговора.

Но на защиту обреченных стариков встают лучшие умы России: писатель Владимир Короленко, обер-прокурор Сената Анатолий Кони, золотоуст адвокатуры Николай Карабчевский, скромный защитник Михаил Дрягин и судебный медик профессор Феоктист Патенко. Четыре года длится беспримерная битва науки, права и совести против полицейского подлога и вековых предрассудков.

Историко-судебный роман «Тень Воршуда» основан на подлинных документах знаменитого Мултанского дела (1892–1896), потрясшего всю Российскую империю.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧЕРНЫЙ АЗЯМ НА ЛЮГСКОМ БРЕВЕННИКЕ

Глава 1. Фомина неделя

Весна тысяча восемьсот девяносто второго года шла на Прикамье и Вятскую сторону трудно, натужно, точно сама земля после великого голода и тифозного мора не имела сил сбросить с себя серый, ноздреватый, въевшийся в овраги саван. Снега в перелесках между Мамадышем и Малмыжем еще держались по сиверкам¹ плотными ледяными черепами, но на взгорьях уже обнажилась бурая, иссохшая с прошлого лета и теперь раскисшая в ледяную жижу суглинистая пашня. По дорогам стояла такая непролазная багнота², что редкая крестьянская лошаденка, заморенная за зиму на прелой соломе с крыш, вытягивала из колеи пустую деревянную телегу. А над полями, над почернелыми соломенными стрехами

русских, татарских и вотяцких³ деревень висело низкое, набрякшее сырым туманом небо, и кричали в нем тощие, голодные грачи.

Страшный девяносто первый год вымел сусеки до последней горсти. Еще с осени по Казанской и Вятской губерниям пекли хлеб с лебедой, с толченой березовой и ильмовой корой, с болотной мякиной и даже с еловой гнилушкой, от которой у ребятишек пухли и синели животы, а старики ложились на полати и тихо, без жалоб, отходили к Богу. За голодом по зимним выюжным трактам поползла горячка — сыпной и голодный тиф; избы стояли нетопленными, на воротных столбах чернели смоляные кресты или вешки карантинна, а в волостных правлениях суточные⁴ и писаря сбивались с ног, раздавая скудную комитетскую ссуду⁵ тем, у кого еще доставало мочи доплестись с пустым мешком до казенного магазина⁶.

В понедельник после Фоминой недели⁷, двадцатого апреля, когда на припеке в деревне Завод Ныртов Абдинской волости Мамадышского уезда чуть обветрило грязь у покосившихся плетней, в крайней избе на косогоре собирался в дальнюю дорогу крестьянин Конон Дмитриевич Матюнин.

Изба у Матюниных давно просела на один угол, бревна нижнего венца обратились в рыжую труху, а земли за душой не числилось вовсе — один только усадебный клочок под кривым двором да огородишко в три гряды. Прежде, пока

девятнадцатилетний сын вертелся дома, еще перебивались кое-как, но парня с осени погнала бескормица по чужим людям: где дрова в лесничестве пилит из хозяйских харчей, где колодцы по богатым татарским селам копает, где день, где ночь — и сам не сыт, и матери с отцом подмоги прислать не с чего. Старшую дочь отдали замуж в соседний починок⁸ за такого же безлошадного бобыля.

Сам Конон Дмитриевич сидел на широкой, добела выскобленной лавке под образами и медленно, с тем особенным, сосредоточенным тщанием, какое бывает у людей, давно привыкших к одиноким пешим переходам, обертывал ноги холщовыми онучами. На взгляд чужого человека, не знавшего его вековой беды, Матюнин казался мужиком в самом соку, хоть сейчас в извоз или на плотничью артель. Было ему сорок девять лет от роду, а сложением Бог наделил его завидным, кряжистым, широкоплечим, почти богатырским: грудь крутая, выгнутая колесом, шея крепкая, руки крупные, жилистые. Только на правой руке, если приглядеться, недоставало на мизинце двух крайних суставов — давний, еще с молодых годов след топора или лесной работы, затянутый толстым, плотным, побелевшим рубцом. Лицо у Конона было чистое, спокойное, с мягкими белорусыми усами и широкой, окладистой, чуть рыжеватой на концах бородой, в которой лишь кое-где, у самых висков и под нижней губой, поблескивали редкие серебряные нити. Такие же белорусые, слегка вьющиеся на концах волосы падали ему низко на шею, за-

крывая уши и спускаясь почти до самых плеч.

— Опять ты, Кононушка, кудри свои не подрезал, — тихо, с привычной бабьей жалостью вздохнула у печного шестка его жена Степанида Никитина, худая, темнолицая женщина в застиранном синепестрядинном⁹ сарафане, укладывавшая на столе скудную дорожную справу. — Хоть бы ножницами для овец дала тебе подровнять сзади-то. В чужую сторону идешь, люди разные встретятся...

Конон поднял на жену светлые, чуть водянистые и оттого казавшиеся по-детски кроткими глаза, провел изувеченным мизинцем правой руки по длинным прядям за ухом и негромко, певучим казанским говорком ответил:

— А ну их, Степанидушка, пушай растут. От бедности ведь не стригусь-то, сама знаешь: ветер на полях нынче вострый, с полуночи дует, в шапку-то задувает, а с долгим волосом уху тепло, не зябнет. Да и где мне в дороге башку мыть да охорашиваться? Чай, не в женихи снаряжаюсь — Христовым именем пропитываться иду.

Степанида отвернулась к загнетке, чтобы муж не приметил навернувшейся на ресницы слезы. Двадцать с лишним лет прожила она за Кононом и за все эти двадцать лет худого, бранного слова от него не слыхала. По молодости, когда еще не скрутила его окончательно черная немочь, случалось — выпивал по престольным праздникам с мужиками, а как перевалило ему за двадцать девять годов, как ударило его однажды оземь посреди улицы так, что трое суток лежал без

памяти с прокушенным языком, — дал Конон перед иконой Николая Угодника зарок. С той поры ровно двадцать лет ни единой капли хмельного не брал в рот: ни казенного вина, ни домашнего пива, ни медовой бражки. «Смирной был, андел был, — скажет о нем спустя три года на суде Степанида, кланяясь в ноги судьям, — не ругался, водки не пил, мухи за весь век не обидел».

Но за кротость эту и за богатырскую его стать лежала на Кононе Матюнине тяжкая Божья печать — падучая болезнь¹⁰. Схватывала она его сызмальства, то раз в месяц, на исходе луны, то дважды, без всякого угаду и срока. Иной день ходит мужик вокруг избы, плетет лапти или тешет топором колья, сила в плечах играет, — и вдруг остановится, побелеет лицом, пойдет у него левая ноздря ходуном, вскрикнет глухо, по-птичьи, и рухнет со всего роста навзничь, куда попало: в грязь, на острые камни, к самому огню. Бьется, сердечный, пена розовая на губах кипит, глаза под лоб закатятся, а очнется через час — весь разбитый, кроткий, виноватый, ничего не помнит, только голова свинцом налита да ноги неделю как чужие дрожат. Оттого ни в какую крестьянскую работу — ни за соху на целый день, ни на плоты по Вятке, ни на леса — никто его не брал, да и сам он боялся: упадешь с бревном или под лошадь — и себя погубишь, и товарища покалечишь. Лечился он в земской больнице в селе Ныртах, пил горькие аптекарские капли; тамошний лекарь, поглядев на его могучую грудь и светлые глаза, только

головой качал: «Тебе бы, Матюнин, в Казань, в университетскую клинику надо, говорят, там профессора череп вскрывают, дурную воду выпускают, — да не вынесешь ты такой операции, помрешь под ножом».

Одно и оставалось хворому богатырю — надеть через плечо холщовую суму да идти с батоном по дальним уездам собирать милостыню.

— Бумаги-то старостины не позабудь, Конон Дмитриевич, — напомнила Степанида, подавая мужу свернутый вчетверо и обшитый по краям суровой ниткой лоскут синей холстины. — Время нынче строгое, по трактам урядники да сотские всех захожих трясут, за бродяг принимают. А на тебя кто ни глянет — всяк подумает: экой детина плечистый, пахать на ем можно, а он под окошком кусочки просит.

— Бумаги со мной, мать, как же без бумаг, — бережно развернул холстинку Конон.

Внутри лежали два полинялых, затертых на сгибах, но с четкими чернильными печатями листа. Первый был выдан еще двадцать пятого ноября тысяча восемьсот семьдесят девятого года, а второй, поновее, — пятнадцатого июля прошлого, тысяча восемьсот девяносто первого года, за подписью сельского старосты деревни Завода Ныртов Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии. В обоих удостоверениях значилось по всей форме, что предъявитель сего крестьянин Конон Дмитриев Матюнин действительно одержим с малолетства падучею болезнью, к тяжелому кре-

стьянскому труду неспособен и от общества увольняется для снискания себе пропитания Христовым именем.

Конон перекрестился на темный лик Спасителя в переднем углу, проверил, крепко ли держится на груди старый медный крест на потертом, в одном месте перевязанном узлом гайтане¹¹, и принялся одеваться. На нем была домотканая, руками самой Степаниды вытканная и сшитая синепестрядинная рубаха в мелкую белую и кубовую клеточку и такие же синепестрядинные штаны. Под правой мышкой рубаха недавно лопнула по ветхости, но чинить было уже некогда — затянется поясом, под кафтаном не видать. На ноги поверх холщовых онуч и старых шерстяных чулков он обул просторные липовые лапти татарского плетения — не такие, как плетут русские мужики с круглыми носками, а широкие, с тупыми, точно обрубленными четырехугольными головками, какие носят по Мамадышской стороне. Поверх рубахи Конон надел свой единственный дорожный азям¹² — долгополый кафтан из грубого домашнего сукна с большим откидным воротником. Городской человек назвал бы этот кафтан темно-коричневым, бурым, цвета осенней торфяной воды, но по-крестьянски во всей округе такое некрашеное сукно с черной овечьей шерстью исстари звали «черным». На поле азяма четко выделялась аккуратно нашитая Степанидой синяя заплата.

Подпоясавшись плетеной опояской и повязав шею ветхим шарфиком, Матюнин уложил в большую холщовую котом-

ку на широких лямках свое нехитрое странническое добро: шесть пустых синих и белых холщовых кошель — ссыпать отдельно ржаную муку, овес, крупу и сухари; медную луженую чашку-стакан для воды и кваса; роговую гребенку; шерстяные варежки на случай утреннего заморозка; горсть мягкого чесаного мочала да маленький синий холщовый кисет-кошелек, в котором одиноко позванивали три медные копейки. На голову он нахлобучил старую, теплую, шитую клиньями остроконечную татарскую шапку конусом, отороченную потертой овчиной.

У порога они со Степанидой присели на лавку. В избе стояла густая, звонкая тишина, только за печью сухо шуршал таракан да с крыши за мутным бычьим пузырем волокового оконца капала с сосульки талая вода: кап... кап... кап...

— Ты уж, Конон Дмитриевич, за Вятку-то переправишься — дальше Малмыжского уезда не забирайся, — глотая слезы, зашептала Степанида и припала головой к жесткому, пахнущему овчиной и дымом плечу мужа. — Говорят, у Вятских Полян да за Люгой, где русские деревни с вотяками межуются, прошлогодний хлеб в скирдах еще у богатых остался, там подают. Наберешь фунтов двадцать мучки да сухариков — и поворачивай к Троице домой. Страшно мне одной в пустой избе куковать, все мерещится — упадешь ты где-нибудь на лесной росстани в припадке, и воды подать некому будет...

— Бог не без милости, Степанида, а добрые люди не без

жалости, — ласково погладил ее по худой спине своей тяжелой, с беспальным мизинцем ладонью Конон. — Не первый год хожу. В Малмыжской стороне народ жалостливый: что наш брат русак, что вотяк крещеный — увидят странника, накормят и ночевать пустят. Прощай покуда, хозяйка. Храни тебя Господь.

Он встал, перекрестился широким, истовым крестом, поклонился жене в пояс, взял в руку крепкий ореховый посох и шагнул через высокий порог на улицу. Степанида вышла за ним за калитку и долго, прикрывая глаза ладонью от холодного апрельского блеска, смотрела, как сутулится под пустой еще котомкой его широкая спина в черном суконном азыме с синей заплатой, как размеренно ступают по вязкой глине тупоносые татарские лапти, пока темная фигура с островерхой шапкой и длинными белорусыми волосами не скрылась за поворотом к перевозу через реку Вятку.

Она не знала, что видит мужа в последний раз и что меньше чем через месяц пойдет по весеннему бездорожью голосит над его безымянной, страшной могилой.

Две недели шел Конон Матюнин от Завода Ныртов на северо-восток, переправившись на пароме у Вятских Полян в пределы Малмыжского уезда Вятской губернии.

Шел он неспешно, по пяти-шести верст в день, сворачивая с большого тракта на проселки, от села к селу, от починка к выселку. Весна разгоралась туго; по утрам лужи заты-

гивало тонким, хрустящим под лаптем ледком, а к полудню солнце растапливало навозные сугробы у околиц, и в воздухе начинало пахнуть прелым листом, оттаявшей хвоей и горьковатым дымом овинов. Конон останавливался у крайних изб, снимал свою остроконечную татарскую шапку, обнажая длинные, с редкой проседью волосы, стучал посохом о наличник и негромко, нараспев произносил обычную странническую молитву.

Подавали той весной скудно. Иной хозяин, выглянув в растворенное волоковое оконце и увидав перед собой широкоплечего, краснолицего с ветру мужика с окладистой бородой, сердито махал рукой: «Бог подаст! Сами с Рождества лебеду толчем, а тут экие лбы здоровые с сумой шатаются!» Конон не обижался. Он молча кланялся, отходил к колодцу или на бревна у ворот, а если хозяин выходил во двор — смиренно доставал из-за пазухи синюю тряпицу со старостинскими свидетельствами и показывал свои бумаги. Узнав про падучую, бабы вздыхали, жалостливо качали головами и выносили кто горсть ржаной или овсяной муки, кто картофелину, кто черствый ломоть пополам с отрубями. В одном богатом селе какая-то сердобольная старуха вынесла ему крошечный узелок спитого чая, желтый обколотый кусочек сахара с наперсток да старенький, но еще целый детский шерстяной чулок — сгодится в дороге на заплаты или продать в многодетной избе за копейку. Все это Конон бережно, с молитвой укладывал в свою котомку, ссыпая муку в отдельный

холщовый кошель.

К воскресенью третьего мая тысяча восемьсот девяносто второго года ноги привели его в глухую лесную и болотистую полосу Старотрыкской волости, где среди вековых ельников и моховых займищ тесно, в трех-четыре верстах друг от друга, лепились русские и вотяцкие деревни.

Под вечер третьего мая, когда холодное солнце уже цеплялось за зубчатую стену пихтового бора, Матюнин вошел в русскую деревню Кузнерку, раскинувшуюся верстах в четырех к северу от большого вотяцкого села Старого Мултана. Остановиться на ночлег ему указали у восьмидесятилетнего старика Тимофея Ефимова Санникова.

Старик Тимофей, сухонький, сгорбленный, но еще зоркий глазами и твердый памятью крестьянин, сидел у ворот своей избы, грея на вечернем припеке старые кости, когда перед ним остановился незнакомый прохожий и попросился переночевать Христа ради. Тимофей Ефимов оглядел странника привычным хозяйским оком: сразу заметил на нем и поношенную синепестрядинную рубаху, и старенькую шапку на татарский манер, и особенно поношенный крестьянский аязм с приметной синенькой заплатой.

— Откуда, мил человек, бредешь? — спросил старик, вводя гостя в теплую, пахнущую печеным хлебом и сухой лучиной избу.

— Из-за Вятки я, дедушка, Казанской губернии, Мамадышского уезда, из Завода Ныртов, — степенно, снимая ко-

томку и крестьян на образа, ответил Конон. — Кононом Дмитриевым кличут. По миру вот хожу, на пропитание собираю.

Про болезнь свою старику Тимофею он в тот вечер распространяться не стал — то ли устал с дороги, то ли не к слову пришлось. Поужинав чем Бог послал и напившись ключевой воды из своей медной чашки, Матюнин растянулся на полу у порога, подложив под голову котомку и укрывшись асямом с синей заплатой. Спал он тихо, спокойно, только изредка вздыхал во сне.

Наутро, в понедельник четвертого мая, едва забрезжил рассвет, Конон поднялся, помолился, поблагодарил старика хозяина и стал расспрашивать, как пройти отсюда в соседнее село Капки.

— А вон выйдешь за околицу да прямо полем и ступай, — показал ему с крыльца Тимофей Ефимов. — Верст пять будет, не заблудишься.

Матюнин низко поклонился и ушел. До Капков он добрался к полудню. Село было небогатое, приходское; мужики с утра разъехались кто на дальние пашни, кто за семенной ссудой, и в избах подавали плохо. Около двенадцати часов дня в конце деревни Капки, где у крайних ворот распряг свою лошадь и насыпал ей на доски овса пятидесятишестилетний псаломщик мултанской церкви Николай Иванович Богоспасаев, ездивший по приходу со сбором весеннего зерна, из проулка показался высокий, плечистый нищий в татарской

шапке и с котомкой за плечами.

Псаломщик Богоспасаев — человек бывалый, из почетных граждан, знавший в округе каждую собаку, но в ту пору хмурый оттого, что капкинские мужики не подали ему ни гарнца¹³ овса, — покосился на подошедшего странника. Нищий остановился, опершись на посох, снял шапку, открыв длинные белорусые волосы с редкой проседью, и вежливо поздоровался:

— Мир дорожке, добрый человек. На посев овсецо собираете?

— На посев, — буркнул псаломщик, поправляя сбрую. — Да только не больно-то нынче разживешься, пусто в деревне.

— И то правда, — кротко вздохнул Конон. — Вот и я с утра хожу, собираю, да подают мало, почитай ничего не дали. Не верят мне люди, батюшка. Глядят — с виду я мужик здоровый, в плечах широкий, а того не ведают, что я годов с восьми от роду падучей болезнью маюсь. В Заводе Ныртах в больнице лечился, а все без толку. Добрые люди советовали мне в Казань ехать: там, дескать, ученые доктора череп сколют, дурную воду из головы выпустят — и станешь здоров. Да наш ныртинский доктор не приказывает ехать. Оно бы, говорит, и так, да не вынесешь ты экой муки, помрешь.

Богоспасаев смерил взглядом его кряжистую, атлетическую фигуру, румяное с весеннего ветра лицо, подумал про себя: «Мало ли вашего брата, притворщиков, по деревням шатается!» — и ничего не ответил. Нищий постоял немно-

го, вздохнул, надел свою остроконечную шапку и зашагал дальше вдоль порядка изб, а через полчаса тронулся в обратный путь на Старый Мултан и псаломщик. Лошадь у него шла шагом по глубокой грязи, половину дороги Богоспасаеву пришлось идти пешком возле телеги, а Матюнин тем временем свернул по проселку обратно к Кузнерке: идти на ночь в нерусскую деревню, где и языка-то толком не знаешь, ему не хотелось, а в Кузнерке народ был свой, православный и знакомый.

Сумерки четвертого мая спускались на Кузнерку сырые, туманные. Из низины от речки Люги тянуло болотной прелью и холодным речным паром. По заведенному в русских деревнях обычаю, захожих странников и нищих распределял по дворам на ночлег сельский выборный¹⁴, соблюдая строгую очередь между домохозяевами. Но в тот вечер вышло не по очереди. Дочь кузнерского выборного Ивана Андреева Санникова, девчонка-подросток, привела Матюнина к пятидесятилетнему сельскому старосте Николаю Тимофеевичу Санникову — родному сыну того самого восьмидесятилетнего деда Тимофея, у которого Конон ночевал прошлую ночь. Избы отца и сына стояли бок о бок, стена к стене.

Самого старосты Николая Тимофеевича в ту минуту дома не случилось — задержался по мирским делам, а ребятишки его, выглянув в окно и увидав в сумерках рослого бородастого нищего в темном азыме, заупрямились и без отца отпирать ворота не захотели. Конон покорно стоял под окном с

выборной девочкой, опершись на свой ореховый посох, пока по улице не подошел сам хозяин. Навстречу им проезжал с поля тридцатидвухлетний сосед Алексей Никитин Пономарев и видел, как староста остановился у своих ворот перед приезжим странником.

— Ты откуда, человек Божий, будешь? — хозяйственно и строго спросил Николай Тимофеевич, разглядывая в вечернем полусвете широкую, чуть рыжеватую на концах бороду и высокую фигуру незнакомца.

— Из-за Вятки я, кормилец, из Завода Ныртов, — ответил Конон и кивнул на соседнюю избу: — А я это у вас в деревне прошлую ночь тут рядом ночевал, вон у того старика в доме.

— Так то родитель мой, Тимофей Ефимыч, — смягчился староста. — Ну, заходи в избу, коли так, не под дождем же тебе на улице стоять.

В избе у Николая Санникова было тепло илюдно. Матюнин снял котомку, бережно поставил в угол посох, помолился и сел на лавку у кутника¹⁵. Ужинали молча. Разговаривать долго старосте было недосуг — завтра со света надо было выезжать на пашню, — только спросил, отчего такой видный, нестарый еще с виду мужик ходит с сумой, на что Конон тихо обронил:

— Нездоров я, хозяин... Падучей болезнью страдаю, в Ныртинской больнице лечился, да не помогло.

Николай Тимофеевич, как давеча и псаломщик Богоспаеаев, в душе не больно-то поверил этой болезни — уж очень

крепок и плечист казался прохожий, — однако перечить не стал. Конону постелили на кутнике, и вскоре вся изба погрузилась в тяжелый, предрассветный крестьянский сон.

Это была последняя ночь Конона Дмитриевича Матюнина на земле.

Утро вторника, пятого мая тысяча восемьсот девяносто второго года, занялось над Кузнеркой рано, еще в пятом часу. Сначала потемневшие бревенчатые стены избы проступили из серой мглы, потом за слюдяным и стекольным оконцем порозовели верхушки берез, и вскоре солнце взошло «по-хорошему» — круглое, чистое, обещающая первый по-настоящему теплый весенний день, хотя по низинам и лесным логам над речкой Люгой еще стлался густой, молочно-белый туман.

В избе старосты Николая Санникова еще все спали, когда звякнула щеколда и через порог шагнул тридцатидвухлетний соседский мужик Алексей Самсонов Плотников. Беда привела его к старосте ни свет ни заря: вчера в понедельник на пашне у Плотникова захромала единственная рабочая лошадь, а сеять овес было самое время, каждый час дорог, вот он и прибежал нанимать лошадь у соседей.

Остановившись посреди избы, Алексей Плотников огляделся и увидел на кутнике спящего вверх лицом незнакомого плечистого человека с широкой русо-рыжеватой бородой.

— Это, мол, кто у тебя, Тимофеич? — полушепотом спро-

сил он проснувшегося хозяина.

— А нищий захожий, с вечера выборный поставил, — зевнул Николай Санниковым, спуская босые ноги с полатей.

Вслед за Плотниковым заглянул в избу на минуту по соседскому делу и Алексей Никитин Пономарев — тот самый, что видел странника вчера вечером у ворот. Конон Матюнин от голосов и скрипа половиц сразу проснулся. Он легко, без стариковской кряхтни поднялся с кутника, оправил синепестрядинную рубаху, пригладил ладонью с беспальным мизинцем длинные, спутавшиеся со сна белорусые волосы и встал на молитву перед образами.

Хозяйка уже растопила печь и поставила на стол ведерный медный самовар. Семья старосты уселась завтракать и пить чай. Конон, сидевший в сторонке у дверей и перекладывавший в своей котомке холщовые кошель, в которых за две недели странствий набралось уже фунтов около пяти муки, поглядел на пар, валящий из-под самоварной конфорки, и робко, с кроткой улыбкой попросил:

— Хозяин, а не будет ли и мне горяченького напиться? Озяб я что-то за ночь-то.

— Отчего не быть, садись к столу, пей на здоровье, — радушно подвинулся Николай Тимофеевич и налил страннику полную чашку жидкого морковного и кирпичного чая.

Матюнин пил чай бережно, вприкуску с крошечным осколком своего желтого сахара, грея о горячую глиняную чашку крупные, загрубевшие пальцы. Кто бы подумал в ту

тихую, светлую утреннюю минуту в теплой кузнерской избе, что ровно через месяц эти самые внутренности, согретые сейчас хозяйским чаем, будет под открытым небом на мултанском ветру вскрывать ланцетом малмыжский уездный врач Минкевич, а из-за вопроса о том, кто именно пил этот чай на рассвете пятого мая у старосты Санникова, сойдутся в смертной поединке лучшие умы и совести Российской империи!

Напившись чаю и перекрестившись на иконы, Конон Дмитриевич поблагодарил хозяев, надел свой буро-черный суконный аяз, вскинул на плечи холщовую котомку на ляшках, нахлобучил остроконечную татарскую шапку, взял посох и вышел на залитую молодым утренним солнцем деревенскую улицу.

На улице, где уже скрипели немазаными колесами первые телеги выезжавших в поле мужиков, он повернул от ворот Санникова на левую руку. В ту сторону из Кузнерки расходились полевые и лесные дороги: можно было пройти и на русские деревни Нышу и Анык, и свернуть проселком к богатому селу Старому Мултану.

У околицы навстречу Конону попались выехавшие на пашню давешние мужики — сначала Алексей Самсонов Плотников, а следом за ним на телеге и Алексей Никитин Пономарев. Поравнявшись с телегой Пономарева, нищий в темном аязе придержал шаг, приподнял над белорусыми волосами свою старую татарскую шапку и спросил:

— Слышь, земляк, покажи Христа ради: как отсель прямо на Старый Мултан пройти?

— А вон держи правее за поскотину¹⁶, там дорога торная, — указал кнутовищем Пономарев.

Он уже тронул было лошадь, но странник, пройдя несколько шагов, снова остановился, обернулся и крикнул вдогонку:

— Постой-ко, добрый человек! А из Мултана-то в деревню Ныши пройти можно ли будет?

— Отчего не пройти! И на Ныши, и на Чулюю, и на Анык — всюду пройдешь, только в низине у речки Люги гляди под ноги: там топь весной, по бревеннику¹⁷ идти надоть! — отозвался с телеги мужик.

— Спаси тебя Христос! — поклонился Конон Матюнин.

Он круто повернулся и зашагал по раскисшей меже к темневшему впереди сырому еловому лесу, унося за плечами в холщовой котомке пять фунтов поданной муки, медную чашку, детский чулок и два старостиных свидетельства о падучей болезни. Солнце поднималось над лесом все выше, но в глубокой ложине у речки Люги, куда вела лесная тропа между русскими деревнями Аныком и Чульей, все еще клубился холодный, непроглядный туман.

Примечания к главе:

1. Сиверок (*вятск. и камск. диал.*) — северный склон оврага, холма или лесной опушки, куда мало попадает весеннее солнце и где дольше всего лежит снег; также холодный

северный ветер.

2. Багно́та (багно́) (*диал.*) — топкая непролазная грязь на весенних или осенних дорогах, вязкое болотистое место.

3. Вотяки (вотский) — официальное в Российской империи до 1932 года русское название финно-угорского народа удмуртов (самоназвание — *удмурт, удморт*), коренного населения Вятско-Камского междуречья.

4. Суточны́й — выборное из крестьян низшее должностное лицо сельского общественного управления, обязанное по очереди в течение суток безотлучно дежурить при волостном правлении или сельском старосте для рассылки повесток, сопровождения проезжающих чиновников и размещения нищих.

5. Комитетская ссуда — продовольственная и семенная помощь мукой и зерном, выдававшаяся голодающим крестьянам во время неурожая 1891–1892 годов через губернские и уездные благотворительные комитеты и земские управы.

6. Магази́н (хлебозапасный магази́н, магазея́) — общественный сельский или волостной амбар в дореволюционной России, где хранился неприкосновенный мирской запас зерна на случай неурожая и голода.

7. Фомина неделя (Антипаса́ха) — первая неделя после Пасхи в православном календаре, заканчивающаяся праздником Красной горки и днем поминовения усопших (Радоницей). В 1892 году Пасха праздновалась 5 апреля по старо-

му стилю, а понедельник после Фоминой недели пришелся на 20 апреля.

8. Починок — небольшое новое сельское поселение в Вятской и соседних губерниях, основанное переселенцами из старых деревень на расчищенном лесном участке (россисти).

9. Пестрядь (синепестрядинный) — грубая дмотканая льняная или конопляная ткань, вытканная из разноцветных (чаще всего окрашенных кубовой синей краской и суровых белых) ниток в мелкую полоску или клетку.

10. Падучая болезнь (черная немочь) — старинное народное и медицинское название эпилепсии, сопровождающейся внезапной потерей сознания и судорожными припадками.

11. Гайтан — плетеный шнурок или тесьма, на которой православные крестьяне носили нательный крест.

12. Азям (зипун) — старинный крестьянский долгополый верхний кафтан из грубого дмотканого сукна или сермяги, обычно без перехвата в талии, с широкими рукавами и откидным воротником.

13. Гарнец — русская дометрическая мера объема сыпучих тел (зерна, муки, крупы), равная $\frac{1}{8}$ четверика, или примерно 3,28 литра.

14. Выборный (десятский) — крестьянин, выбранный сельским сходом на определенный срок для исполнения полицейских и хозяйственных повинностей в деревне, в том

числе для отвода ночлега проходим и странникам по очереди дворов.

15. Кутник (куть) (*вятск. и сев.-рус. диал.*) — широкая лавка или особое место в крестьянской избе у входа, около дверей и против устья русской печи (в бабьем куту), где обычно клали спать захожих странников и нищих.

16. Поскотина — огороженный жердями мирской выгон для скота вокруг деревни; на проезжих дорогах, пересекавших поскотину, устраивались тяжелые полевые ворота, которые проезжающие обязаны были закрывать за собой, чтобы скот не ушел в хлеба.

17. Бревенник (гать) — узкий настил из отесанных бревен, уложенных в один или два ряда вдоль пешей лесной тропы через топкое болото.

Глава 2. Дым над куалой

Село Старый Мултан Старотрыкской волости Малмыжского уезда лежало среди неоглядных, давно распаханых полей и темных хвойных увалов, словно тихий, замкнутый в себе островок древнего удмуртского племени посреди разлившегося вокруг русского крестьянского моря. С севера, с юга, с запада и востока его обступали русские деревни и починки — Кузнерка, Талавыл, Анык, Чулья, Ныши; всего в полутора десятках верст шумел большой Пермско-Казанский сибирский тракт, по которому день и ночь звенели колокольцы почтовых троек и брели закованные в кандалы ка-

торжные партии, а за пятьдесят верст к юго-западу гудели пароходные свистки на богатой пристани Вятские Поляны.

Кто въезжал в Старый Мултан погожим весенним днем, ни за что не назвал бы его диким или захолустным инородческим углом. На высоком открытом взгорье, видный за много верст со всех трех полевых дорог, белел каменный православный храм, воздвигнутый полвека назад самими же мултанскими вотяками, которые уже больше ста лет как приняли святое крещение и числились православными греко-российского исповедания. Вокруг церкви и вдоль широкой главной улицы теснились добротные пятистенные избы под тесовыми крышами, стояло здание церковно-приходской школы, куда вот уже третий десяток лет бегали учиться русской грамоте черноволосые и светлоглазые вотяцкие ребяташки, жили два приходских священника с диаконом и псаломщиком, торговали мелочные лавочки, казенное питейное заведение и содержалась земская почтовая станция с въезжей квартирой для проезжающих чиновников.

Постороннему глазу казалось, что жизнь здесь течет точно-точно как в любом зажиточном русском селе Вятской губернии: те же сохи и бороны под навесами, те же озими за поскутиной, те же колокола к вечерне. Но стоило сойти с проезжей улицы и заглянуть за тесовые ворота во внутренние дворы мултанских усадеб — на *позьмо*¹, между клетями, амбарами и огородами, — как открывался совсем иной, тысячелетний, затаенный мир, где время словно остановилось еще до того,

как срубили на Вятке первые русские остроги.

Там, в глубине дворов, прятались потемневшие от вековых дождей и снегов бревенчатые молельни — *куалы*², или, как звали их русские соседи и полицейские протоколы, «шалашы».

В Старом Мултане насчитывалось около семидесяти или восьмидесяти дворов, и почти при каждом дворе стояла своя малая, семейная куала (*покчи куала*), где хозяин варил летом пищу и возносил в праздники домашние молитвы. Но сверх этих малых семейных шалашей стояли в селе две главные, священные общеродовые молельни — *бадžым куалы*, ибо все удмуртское население Старого Мультана с незапамятных времен делилось на два древних экзогамных рода, два *воршуда*³: малый род *Учур* и большой род *Будлук*.

По неписаному закону старины, человек рода Будлук ни под каким видом не смел переступить порог родовой куалы рода Учур во время моления, а учурский родович не имел права молиться в будлукском шалаше: присутствие чужеродца оскорбило бы воршуда. К роду Будлук принадлежало около шестидесяти домохозяев, и их общеродовая куала стояла на усадьбе крестьянина Тимофея Андреева, где главным выборным жрецом — *бадžым-вöсясем*⁴ — состоял Степан Петров. К малому же роду Учур относились всего тринадцать или четырнадцать дворов, и их родовая святыня возвышалась на позыме между двором и огородом шестидесятипяти-

летнего крестьянина Моисея Дмитриева.

Сам Моисей Дмитриев был человек степенный, обстоятельный и в селе уважаемый. Семья у него была большая — семь душ едоков, — хозяйство справное: в клетях не переводился хлеб даже в нынешнюю голодную весну, а с осени в амбаре висела разрубленная туша откормленной нетели. Первую жену Моисей похоронил и на старости лет взял в дом вторую хозяйку — молодую, работающую и тихую женщину Василису Гордееву, которая ходила за стариком мужем и за его двенадцатилетним сыном от первого брака Костей, худеньким, застенчивым мальчиком.

Родовая куала рода Учур на дворе Моисея Дмитриева представляла собой приземистый четырехстенный сруб из толстых, почерневших сосновых бревен, в семь с половиной аршин длины и столько же ширины, крытый тесом на два ската. Ни одного окна в стенах не было; не было и потолка — взгляд вошедшего через единственную низкую дверь сразу упирался в закопченные стропила крыши, в которой прямо над серединой земляного пола зияло дымовое отверстие. Зимой через эту дыру в кровле наметало сугробы снега; в темном помещении снег слеживался в ледяную кору и таял медленно, до самого мая и июня, отчего земляной пол посредине шалаша и у входа всегда оставался черным и волглым, тогда как под тесовыми лавками вдоль стен земля была сухой.

Посреди куалы, в обложенном дикими камнями углубле-

нии, чернело священное кострище — *тылскем*, а над ним на двух продольных деревянных балках-перекладах, перекинутых от стены к стене, висел длинный деревянный крюк-рычаг для медного жертвенного котла. В переднем же углу, влево от входа, на священной полке покоился лубяной короб *воришуд куды*⁵ с бережно хранимыми из века в век веточками священной березы и беличьими шкурками, а рядом с ним, прямо на закопченном бревне над обыкновенным крестьянским столом, глядел сквозь сумрак потемневший медный и писанный на доске лик святителя Николая Чудотворца.

И никому в Старом Мултани — ни самому хозяину Моисею Дмитриеву, ни его молодой жене Василисе, чисто выметавшей пол перед праздниками, — не казалось странным или греховным это соседство древнего лубяного короба с православной иконой Николы Милостивого. Для тихой, младенчески ясной души удмурта-земледельца Бог был один — высокий, светлый, милосердный *Инмар*⁶, Тот, Кто живет на небе, дает полям теплый дождь, наливает зерном ржаной колос и бережет малых деток от злой хвори. Русские батюшки в белой каменной церкви называли Его Господом Саваофом и учили класть на грудь трехперстное знамение, а деды и прадеды в сумрачной куале учили кланяться Ему с кружкой теплой домашней *кумышки*⁷ и кусочком пресного хлеба на резном деревянном блюде — *тэркы*⁸.

Главным молитвенником, *бадžым-вöсясем* учурской куа-

лы во дворе Моисея Дмитриева, уже несколько лет состоял тридцатиоднолетний крестьянин Дмитрий Степанов, по уличному прозвищу Зорин.

Был он невысок ростом, худощав, с мягкими, задумчивыми чертами скуластого лица и тихим, грудным голосом. Жреческое звание у вотяков не давало ни богатства, ни власти над односельчанами: *вöсьясь* так же пахал свою полосу, так же платил подати и ходил в извоз, но выбирали на это место по указанию знахаря-*туно*⁹ только человека самой чистой, незапятнанной жизни, кроткого нравом, не сквернословия и не пьяницу, чья молитва была бы угодна светлomu Инмару. В помощниках у Дмитрия Степанова состояли средний жрец (*тöр-вöсьясь*¹⁰) Трофим Максимов и два младших прислужника (*покчи-вöсьясь*) — Кузьма Антонов и сорокатрехлетний сельский староста Старого Мултана Андриан Александров.

Только дважды в году — на зимнее Крещение да в светлое Христово Воскресение, на Пасху — собирались в шалаш Моисея Дмитриева хозяева четырнадцати учурских дворов. Никакой крови в эти праздники не проливали: приносили с собой караваи свежего хлеба, густую яичницу да туески с домашним ячменным пивом. Дмитрий Степанов в белом домотканом кафтане-*шортдэреме*, опоясанный узорным кушаком, становился лицом к переднему углу, где рядом с воршудным коробом темнел лик святителя Николая, поднимал деревянную чашечку-*сюмык* и тихо, нараспев произносил

древние, как шум вятских пихт, слова молитвы:

— *Инмар, жеч возь, нянь сёт, нылпи жеч мед луоз...* (Инмар, в добре сохрани, хлеба дай, дети здоровы да будут...)

Лишь раз в четыре года, осенью на Покров, если случался падеж скота или недород, старики рода Учур постановляли справить в куале большое жертвенное моление — *курбон*¹¹. Последний раз такое моление было четыре года назад, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году: в складчину со всех четырнадцати дворов купили у Кузьмы Антонова годовалого бычка, повалили в шалаше на связанную солому, и Дмитрий Степанов перерезал ему горло, выпустив кровь в деревянное хозяйственное корыто, которое держал сельский староста Андриан Александров. Потом мясо сварили в большом котле над очагом, съели всем родом в братской трапезе, а чистый, обваренный костяк бычачьей головы по древнему обычаю бережно зарыли в землю внутри самой куалы, возле задней стены около очага — в знак того, что дар принят божеством.

Кроме родовых куал Учура и Будлука, было у старомултанцев еще одно заветное место, общее уже для всего села. Версты за две от околицы, в глухой лесной роще, стояло ого-роженное жердями мольбище — *кереметь*¹², или по-удмуртски *луд*. Туда ходили раз в году, поздней осенью, в Михайлов день, умиловать сурового лесного духа Луда (которого старики порой именовали старинными званиями *Акташ* или *Абташ*), чтобы не насылал он на деревню ни ветровой пор-

чи, ни огневой горячки, ни падежа на лошадей. На керемети не резали крупной скотины — приносили в жертву только домашнюю водоплавающую птицу: белую утку да серого гуся.

Долгие годы старшим жрецом лесной керемети был глубокий старец Андрей Григорьев, которого во всей округе, и русские и вотяки, звали не иначе как дед Акмар.

По церковной метрике деду Акмару числилось семьдесят девять лет, но сам он, давно потерявший счет веснам и зимам, твердо считал себе за девяносто. Был он совсем дряхл, согбен в три погибели так, что когда стоял на ногах, казалось, будто он сидит на корточках; голова его с редкими седыми космами и жидкой трясущейся бородашкой непрестанно вздрагивала, подслеповатые глаза слезились, а на одно ухо он почти вовсе оглох. Когда-то дед Акмар был богатым домохозяином и первым советчиком на мирском сходе — *кенеише*¹³, но теперь от прежнего достатка остались одни воспоминания да ветхий пчельник в лесу. По немощи своей старик передал служение на керемети сначала сыну, а после его смерти — своему двадцативосьмилетнему внуку Михаилу Титову, круглолицему, застенчивому и боязливому парню, который и выглядел-то совсем мальчишкой-подростком и по-русски едва умел связать десяток слов. В помощниках у молодого Михаила Титова на керемети состоял тридцативосьмилетний *төр-вöсьсь* Андриан Андреев (сменивший на этом посту пятидесятилетнего рыжебородого сотского Семе-

на Иванова, прозванного в селе Семеном Красным).

И надо же было случиться, что еще в Великий пост нынешнего голодного девяносто второго года вышел у этого самого Андриана Андреева пустой, мимолетный разговор на сельском сходе, который злая человеческая зависть и темнота превратили потом в смертную петлю для всего Старого Мултана!

Сошлись тогда мултанские мужики вечером на кенеш по-толковать о мирских нуждах. Год стоял тяжкий: в соседнем Малом Трыке, в Аныке и в самом Мултане с зимы не утихал тиф, хлеб вздорожал выше рубля за пуд, скотина мычала по дворам от бескормицы. Старики — и сгорбленный дед Акмар, и шестидесятилетний отец старосты Александр Ефимов — сидели на бревнах, вздыхали и по-стариковски ворчали по-удмуртски:

— Оскудела земля, осерчал на людей Инмар... Прежде народ крепко держался старины, в положенный срок моления справлял, оттого и хлеб в сусеках не переводился, и хвори обходили стороной.

Сидевший тут же жрец с керемети Андриан Андреев возьми да и скажи в задумчивости:

— А ведь и правда, старики... Мне вот надысь под утро нехороший сон привиделся. Будто выходит ко мне старик в белом и говорит: худо вам жить оттого, что забыли вы жертву принести. Надо, говорит, *кык пыдэс ванданы кулэ*¹⁴...

Всякий удмурт с колыбели знал, что означают на языке

старинных преданий и молитв слова «*кык пыдэс ванданы кулэ*» — «нужно заколоть двуногое». На иносказательном языке молений, где животное никогда не называли прямо, «четвероногим» (*ныль пыдэс*) именовали овцу, теленка или жеребенка, а «двуногим» (*кык пыдэс*) — обыкновенную домашнюю птицу: гуся или утку, которых искони резали на осеннем молении в роще Луда!

Но как раз в ту минуту за спинами стариков, в вечерних сумерках у забора, стоял и прислушивался к удмуртской речи молодой русский парень из живших в Старом Мултани мещан и крестьян — Константин Мурин, племянник и сродник местных богатеев Дмитрия и Степана Муриных. Семья Муриных давно жила среди вотяков, арендовала земли, скупала по осени конопляное семя и хлеб, но с коренными жителями села ладила плохо: еще недавно у мултанского мира вышло шумное столкновение с Дмитрием Муриным из-за общественного зерна в хлебозапасном магазине. Заметив в полутьме настороженные уши Константина Мурина, Андриан Андреев осекся и негромко сказал по-удмуртски соседям: — Будет об этом толковать, тут лишние люди стоят, еще переврут на свой лад...

Он как в воду глядел. Прибежав домой к своему родственнику Дмитрию Мурину, Константин с таинственным видом пересказал, будто вотяцкий «дьякон» Андриан Андреев объявлял на ночном сходе вещий сон: дескать, ихний бог просит зарезать «двуногого» — то есть живого человека!

Слух этот тогда же, в Великий пост, заглох в избе Муриных, потому что смешон и дик показался бы он всякому при свете дня. Но семена ненависти и суеверного страха упали в готовую почву.

Там же, на главной улице Старого Мултана, прямо напротив усадьбы Моисея Дмитриева, стоял двор старика Самсона Максимова. Жил старик Самсон невенчанно с русской стряпкой — крикливой, острой на язык вдовой Евдокией Филимоновой, а по соседству в бедной, покосившейся избушке бедовал отделенный отцом старший сын Самсона от первого брака — сорокалетний одноглазый Кузьма Самсонов.

Судьба крепко обидела Кузьму. Отец, сойдясь с молодой русской мачехой, выделил сына почти ни с чем — дал только старую клячу да худой двор, — и одноглазый Кузьма перебивался с хлеба на квас тем, что ходил по окрестным русским и вотяцким деревням колоть и свежевать скотину. Рука у него, несмотря на единственный зрячий глаз, была верная, твердая: хоть бычка повалить, хоть телушку разделать, хоть овчину снять; даже большого мясницкого ножа своего у бедняка иногда не оказывалось, брал у соседей, но за работу брал дешево — гроши да требушину на похлебку ребятишкам. Между женой одноглазого Кузьмы и его сварливой мачехой Евдокией Филимоновой не проходило недели без лютого бабьего визга и перебранки через улицу — и эта домашняя вражда тоже ждала своего черного часа.

Понедельник четвертого мая тысяча восемьсот девяносто второго года — тот самый день, когда Конон Матюнин беседовал в полдень в селе Капках с псаломщиком Богоспасаемым, а к вечеру пришел ночевать в Кузнерку к старосте Николаю Санникову, — выдался в Старом Мултани хлопотливым и суетным.

С самого раннего утра запряг свою телегу тридцатисемилетний мултанский крестьянин Василий Кондратьев, которого по-уличному звали Васькой Кондиным. Жил он в глухом проулке, саженьях в двадцати двух от двора и куалы Моисея Дмитриева (отделяясь от него только огородом), хотя сам принадлежал к другому роду и ходил молиться не к Моисею, а в будлукский шалаш. В этот понедельник четвертого мая на Василия Кондратьева выпал черед служить суточным по селу. Но с утра в Старом Трыке, за семнадцать верст от Мултана, у земского начальника Кронида Васильевича Львовского назначена была раздача семенной и продовольственной ссуды, и Кондратьев, сдав до вечера дежурство, погнал лошадь по раскисшему проселку в волость. Народу у магазинов в Старом Трыке скопилось из десятка деревень видимо-невидимо; писаря и приемщики отвешивали муку медленно, с перебранкой и проверкой списков, так что выдача затянулась до самых сумерек, и обратно в Мултан измученный Василий Кондратьев выбрался уже по темной ночи.

А в самом Старом Мултани на широкой главной улице тем

временем появился прохожий нищий.

Но то был вовсе не тихий, богомольный, двадцать лет не бравший в рот хмельного Конон Матюнин из Завода Ныртов. Еще днем у казенного кабака и вдоль заборов видели приземистого, коренастого пожилого мужика с большой всклокоченной рыжей бородой, одетого в синепестрядинную рубаху и старый азам. Вместо холщовой заплечной котомки у этого рыжебородого гуляки висела плетеная из лыка и прутьев корзина-пестерь¹⁵, какие в Заводе Ныртов отродясь никто из нищих не нашивал. Был он чрезвычайно пьян, лицо его налилось багровой краской, ноздри раздувались, и, шатаясь от ворот к воротам, он что-то бессвязно и сердито бормотал себе под нос. Около семи часов вечера, когда солнце уже опустилось за зубчатую кромку ельника, но вечерняя заря еще долго не гасла в сыром небе, этого нищего встретил против ворот дома крестьянина Степана Мурина проходивший по улице мужик из деревни Анык Никита Ворончихин, а чуть погодя, уже в сумерках, у сваленных против Муринова дома бревен с ним поздоровался шестидесятивосьмилетний старик из деревни Люги-Какси Евдоким Шутов. Рыжебородый нищий с играющей от хмеля или от внутренней хвори ноздрей что-то невнятно «забаял» в ответ старику и повалился отдыхать прямо на бревно.

Темнота сгустилась над селом. В десятом часу вечера на колокольне пробили часы, затихли последние голоса на главной улице, и только у бревенчатого пожарного сарая, в соро-

ка саженьях от каменной церкви, засветился в темноте огонек фонаря и послышались негромкие шаги ночного караула.

В ту ночь с четвертого на пятое мая у пожарного сарая стоял в карауле сам церковный староста мултанского храма, тридцатидевятилетний торговец Василий Кузьмич Кузнецов.

Среди своих односельчан-вотяков Василий Кузьмич выделялся с первого взгляда. Был он человек грамотный, чисто и правильно, без обычного удмуртского акцента говоривший по-русски, с тонкими, благородными и умными чертами бледного лица, аккуратной темной бородкой и глубокими, задумчивыми черными глазами. Зимой он вел торговлю по гильдейскому свидетельству, ездил за товаром в Вятские Поляны и Малмыж, пользовался кредитом у крупных русских купцов и почетных граждан, а летом наравне с простыми мужиками пахал свои четыре душевых надела. Когда пришло время выбирать церковного старосту для прихода, куда входило шесть вотяцких и девять русских деревень, именно русские прихожане первыми подали голоса за Василия Кузьмича Кузнецова — за его безупречную честность, трезвость и кроткое, истинно христианское благочестие. Младший брат его, Павел Кузьмич, выучился в городе и служил военным фельдшером, давно отойдя от всяких деревенских обрядов.

Но недостаток не уберег дом Василия Кузнецова от горя. Вот уже два с половиной года, как его горячо любимая жена

слегла в тяжкой, неизлечимой болезни — у нее отнялись ноги, и она, прикованная к постели, медленно угасала в душевной горнице на руках у мужа и малых детей.

Весь день четвертого мая единственный наемный работник Кузнецова, тридцатисемилетний русский мужик из деревни Батыровой Павел Осипов, вместе с младшим братом хозяина Анисифором поднимал сохой тяжелую весеннюю пашню под овес. Вернулся работник с поля в сумерках совершенно без задних ног: похлебал щей за столом, уронил голову на руки и тут же заснул мертвым сном. А между тем как раз в эту ночь подошел черед Кузнецова двора выстав-лять караульного к пожарному сараю и церкви.

Василий Кузьмич вышел из-за перегородки, где тихо стояла во сне больная жена, посмотрел на спящего работника Павла Осипова, и сердце у него сжалось от жалости. Будить измученного пашней человека ради трех или пяти копеек мирского найма не поднялась рука, да и самому в душевной избе не спалось от тяжелых дум о жене. Он надел теплый кафтан, взял караульную палку-колотушку, перекрестился и сам вышел на ночную улицу к пожарному сараю, где уже дежурили двое односельчан — вернувшийся поздно вечером из Старого Трыка суточный Василий Кондратьев и его брат Павел.

Ночь стояла тихая, сырая и темная. Пахло оттаявшим навозом, речной свежестью и березовой почкой. Караульные негромко переговаривались в темноте, изредка проходя сто

саженной от пожарной до церковной ограды и обратно.

Около двух или трех часов пополуночи со стороны Больше-Шабанской волости на въезде в Старый Мултан вдруг застучали колеса по колдобинам, фыркнули усталые лошади и звякнул под дугой пристяжной бубенец. То проезжал через село на земскую въезжую квартиру становой пристав третьего стана Малмыжского уезда Евгений Михайлович Тимофеев — плотный, властный полицейский чиновник с седеющими бакенбардами и тяжелым, подозрительным взглядом маленьких глаз.

Увидав в свете фонаря у пожарного сарая троих караульных и узнав среди них по приличной одежде и тонкому лицу богатого торговца и церковного старосту Василия Кузнецова, пристав Тимофеев придержал ямщика и с удивлением окликнул из тарантаса:

— Эй, Кузьмин! Ты зачем здесь ночью торчишь?

Василий Кузьмич снял шапку и спокойно ответил:

— Черед моего дома подошел, ваше высокоблагородие. Так вот, время провожу, караулю.

— Чудак-человек! — усмехнулся пристав, кутаясь в шинель от предрассветной сырости. — Да за тебя всякий бедняк в селе за пятак ночь отстоит, а ты, не выспавшись, завтра днем в своих торговых занятиях рубль потеряешь! Шел бы ты спать домой!

— Ничего, ваше высокоблагородие, работники у меня с пашни устали, а мне все одно не спится, — кротко отозвался

Кузнецов.

Тарантас пристава покати́л дальше по пустынной главной улице — прямо мимо двора Моисея Дмитриева, где за тесовыми воротами в полном безмолвии и темноте чернела пустая крыша учурской куалы. Ни малейшего огонька, ни дымка, ни человеческого голоса или собачьего бреха не доносилось с усадьбы старика Моисея. Пристав Тимофеев свернул на въезжую квартиру содержательницы Марьи Ивановны Шлеймер, разделся и завалился спать до утра.

А когда на рассвете пятого мая над Старым Мултаном взошло солнце и закрипели ворота дворов, земский ямщик Тимофей Гаврилов — тридцатипятилетний исправный вояка, отслуживший три года царской службы бомбардиром крепостной артиллерии в дальней западной крепости Динабург, — пришел по своей прямой ямщицкой обязанности на въезжую квартиру узнать у барина станового, в котором часу и в какую сторону подавать ему свежих лошадей. Пристав Тимофеев, еще нежась в постели, сердито рывкнул на ямщика: «Убирайся ты на все четыре стороны, скажу когда надо!», потом неспешно встал, напился чаю и около восьми часов утра выехал из села по дороге на деревню Чулюю.

Утро в Старом Мултане разгоралось ясное, рабочее.

Около восьми часов утра старик Моисей Дмитриев со своей молодой женой Василисой Гордеевой заложили в телегу лошадь, укрыли мешки с зерном для размола старым запла-
таным холщовым пологом и выехали за северные полевые

ворота по Талавыльской дороге к водяной мельнице Фомы Щербакова на речке Люге. Сажень в десяти за поскотиной им попался навстречу ехавший с мельницы мужик из деревни Ныши Емельян Щербаков. Моисей спросил его, проста ли мельница, и спокойно поехал дальше.

Тем временем в самом Старом Мултани у бревен против дома Степана Мурина и избы Лобова снова объявился давешний приземистый рыжебородый нищий с плетеной корзинкой-пестерем (который еще целую неделю после того будет бродить по деревням и заходить за водкой в лавку Натальи Шатуновой). Опохмелившись с утра в кабаке, он развалился у бревен и принялся раскуривать трубку.

Проходившая мимо вдова Авдотья Моисеева Глушкова испугалась пожара от его трубки и окликнула пятидесятилетнего сельского сотского Семена Иванова — Семена Красного, у которого на белке правого глаза виднелся старый красноватый нарост, а широкая борода отливала медью. Добродушный сотский Семен Красный тотчас поднял пьяного гуляку с корзиной и под руки вывел проулком за околицу, строго наказав с огнем у дворов не баловать.

Ни сотский Семен Красный, ни старик Моисей Дмитриев, ни возвратившийся с ночного караула к больной жене церковный староста Василий Кузнецов не ведали в то солнечное майское утро, что всего в трех с половиной верстах от их села, в глухой болотной низине у речки Люги, уже свершилось темное, кровавое злодейство, которое обрушит на их головы

четырёхлетнюю Голгофу.

Примечания к главе:

1. Позьмо (вятск. диал., заимств. из финно-угорск.) — внутренний хозяйственный двор крестьянской усадьбы или примыкающий к двору огороженный участок между службами и огородом; в лесных местностях также расчищенная поляна, пасека или заимка.

2. Куала (шалаш) — традиционная родовая или семейная молельня удмуртов: бревенчатый сруб без окон и потолка, с открытым очагом посреди земляного пола. В русских официальных документах XIX века куалу обычно называли «шалашом». Малая семейная куала именовалась *покчи куала* (от удм. *покчи* — малый, младший), а большая общеродовая — *бадӓым куала* (от удм. *бадӓым* — большой, великий, старший).

3. Воршуд (удм., букв. «хранитель счастья») — родовое божество-покровитель у удмуртов и одновременно название экзогамного (запрещающего браки внутри своей группы) родового союза, ведущего происхождение от общего предка. В селе Старый Мултан проживали представители двух воршудных родов — *Учур* и *Будлук*.

4. Бадӓым-вӧсясь (удм., в русских записях следствия — «бодзим-босясь» или «возим-восясь») — старший, главный выборный жрец-молитвенник в большой родовой куале или на общественном мольбище, возглавляющий чтение молитв и совершение жертвоприношения (от удм. *вӧсяны* — мо-

литься, освящать жертву).

5. Воршуд куды (*удм.*) — священный лубяной короб с крышкой, устанавливавшийся на особой полке (*мудор*) в переднем углу родовой куалы; в нем хранились родовые реликвии: ветки священных деревьев, шкурки белки, старинные серебряные монеты и кусочки жертвенного хлеба.

6. Инмар (*удм.*) — верховный светлый бог неба, света и добра в удмуртской религии («Тот, Кто на небе»). У крещеных удмуртов XIX века образ Инмара полностью слился с христианским представлением о едином Боге-Творце.

7. Кумышка (кумышкэ) — традиционный удмуртский домашний слабоалкогольный напиток (хлебная перегонная брага или самогон из ржаного либо ячменного солода), употреблявшийся как при семейном угощении, так и в качестве священного возлияния во время молений.

8. Тэркы и сюмык (*удм.*) — старинная деревянная резная тарелка-блюдо (*тэркы*) для жертвенного хлеба и ритуальная деревянная чашечка (*сюмык*) на ножке или с резной ручкой для питья кумышки при молениях в куале.

9. Туно (тунась) (*удм.*) — народный прорицатель, сновидец и знахарь у удмуртов, к которому обращались для гадания о причинах болезней или общественных бедствий, а также при выборе новых жрецов-*вöсьсей*.

10. Төр-вöсьяь и покчи-вöсьяь (*удм., в судебных бумагах* — «*тыр-босясь*» и «*покчи-босясь*») — помощники главного жреца: *төр-вöсьяь* ведал порядком в куале и сбором по-

жертвований, а младшие *покиш-вёсяси* варили мясо и придерживали жертвенное животное.

11. Курбон (курбан) — заимствованное удмуртами слово, означающее торжественное жертвенное моление или жертвенное животное. Полицейские чины и авторы обвинительного акта приняли это слово за собственное имя некоего «злого языческого бога Курбана».

12. Кереметь (луд) — священная заповедная роща или огороженная поляна в лесу (по-удмуртски *луд*), где раз в году совершалось моление суровому духу поля и леса Луду (Акташу).

13. Кенеш (удм.) — традиционный сельский сход, совет домохозяев и старейшин удмуртской общины.

14. Кык пыдэс ванданы кулэ (удм.) — буквально: «нужно зарезать двуногого». Иносказательное обрядовое выражение, обозначающее принесение в жертву домашней птицы (гуся или утки) в отличие от «четвероногого» (*ныль пыдэс*) — скота. Русские лжесвидетели перевели эти слова следователю как призыв «резать двуногого — человека».

15. Пестерь (сев.-рус. и вятск. диал.) — высокая заплечная корзина из бересты или драного липового лыка.

Глава 3. Находка Марфы Головизниной

Между русскими деревнями Чульей и Аныком, верстах в трех с половиной к северу от Старого Мултана, тянулась глухая, гиблая болотистая низина, по дну которой в зарослях

ольшаника, тальника и кривых моховых елок вилась темная лесная речка Люга.

В весеннюю и летнюю пору проехать через эту топь на телеге не было никакой возможности: стоило свернуть с сухого взгорья в мелкий кочковатый сосняк, как колеса по самую ступицу уходили в ржавую торфяную хлябь, а лошадь билась брюхом в ледяной трясине. Но пешему человеку идти напрямик из Чульи в Анык или на Петровский починок было здесь вдвое короче, чем кружить проезжим проселком, и потому с давних лет по податному лесному наделу крестьян деревни Чульи, как раз по меже с аныкской землей, пролегла узкая пешеходная тропа. На протяжении чуть менее версты по самому гиблому месту через болото был настлан узкий бревенник — гать из отесанных сверху сосновых и еловых бревен, положенных где в два ряда, а где и вовсе в одно скользкое, прогибающееся под ногой бревно.

Саженьях в шестидесяти от этого бревенника, у самой речки Люги, чернел замшелый сруб старой, бездействующей весной водяной толчеи¹, а чуть подальше вверх по воде шумела весенним паводком на шлюзах мукомольная мельница шестидесятичетырехлетнего крестьянина деревни Ныши Фомы Васильевича Щербакова. Неделию назад, после Фоминой, мужики поставили в речке Люге плетеные рыболовные крепи², а на косогоре возле аныкской межи начали рубить в лесу небольшую чищобу³ под росчисть; всюду на вырубке

белела свежая еловая и березовая щепа.

Во вторник пятого мая тысяча восемьсот девяносто второго года, в поздний завтрак, когда солнце поднялось уже высоко над верхушками сосняка и близился полдень, по лесной тропе из деревни Чульи в Петровский починок шла шестнадцатилетняя крестьянская девушка Марфа Куприянова Головизнина — рядиться на лето в работницы к петровскому мужику Мартемьяну Афанасьеву.

Шла Марфа быстро, подбирая подол синего домотканого сарафана, чтобы не обрызгать его болотной жижей, которая хлюпала в лужах по обе стороны узкого настила. Воздух в низине стоял парной, тяжелый, пахло багульником, гнилой хвоей и речной тиной. Перейдя ложок недалеко от старой толчеи, девушка выбежала на бревенник — и вдруг остановилась как вкопанная.

Саженьях в десяти впереди, прямо поперек узкого бревенчатого мосточка, лежал человек.

Лежал он ничком, животом и грудью вниз, вытянув обутые в светлые, сухие лапти ноги к более высокому краю тропы, а верхней половиной туловища свесившись к сырой рытвине. Свободно раскинутые руки его в синепестрядинных рукавах уткнулись в мокрый мох, а сверху плечи и то место, где должна была находиться голова, были глухо накрыты полами старого темно-коричневого — по-крестьянски черного — суконного азяма. Рядом в грязи валялись синяя холщовая котомка, теплая остроконечная татарская шапка, ореховый

посох и маленький синий кошелек.

Сердце у шестнадцатилетней Марфы упало и забилось где-то в самом горле. Вокруг не было ни души — только шумела за кустами весенняя вода на мельничном водоспуске да тенькала в ельнике синица. На беду, от испуга или неловкого шага у девушки развязалась оборка и с ноги сполз лапоть. Оглядываясь с замиранием духа на неподвижную темную фигуру под черным азымом — «чтоб будто веселей и не так страшно было», — Марфа торопливо, дрожащими пальцами подобула ногу. Кто он такой лежал поперек дороги — живой ли, пьяный ли спящий странник или неживой, — наклониться и поглядеть под накинутый зипун молоденькая девка не посмела.

Переступить через лежащего человека на узком бревеннике тоже было страшно. Марфа сошла с бревен прямо в холодную болотную жижу, выше щиколотки увязая в черной грязи, торопливо обошла лежащего «по-за ногам», выскочила обратно на тропу и без оглядки припустила бегом через лес к деревне Анык и Петровскому починку.

В Аныке и в починке она, еще задыхаясь от быстрого бега, рассказала о своей страшной встрече на бревеннике аныкскому мужику Якову Кузнецову и хозяину Мартемьяну Афанасьеву:

— Там за Люгой, возле толчеи на мосточке, мужик какой-то поперек тропы лежит, черным зипуном с головой укрытый!

Мужики переглянулись. И в Аныке, и в соседней Чулье — двух чисто русских деревнях, чьи наделы сходились у Люгского болота, — эта весть сразу ударила всех точно обухом по темени. Не дожидаясь ни старосты, ни десятского, ни полиции, Яков Кузнецов и еще несколько мужиков тайком кинулись к болоту.

Что именно происходило в глухой лощине у речки Люги в остаток дня пятого мая и в ночь на шестое — лес сохранил в своей немой тайне. Только когда на следующий день, в среду шестого мая, ровно в полдень, нанявшаяся в работницы Марфа Головизнина возвращалась из Петровского починка домой в Чулью той же самой лесной тропой, она еще издали увидела, что человек в синепестрядинной рубаше и штанах все так же лежит ничком поперек бревенника.

Но теперь он лежал уже иначе.

Кто-то побывал здесь за минувшие сутки. Кто-то подходил к мертвецу, наклонялся над ним и откинул с его плеч полу черного суконного азяма. И Марфа, бросив один только взгляд на верхнюю часть тела, вскрикнула от нечеловеческого ужаса: у лежащего на бревнах человека вовсе не было головы! На месте шеи, почти у самых плеч, зиял страшный, темный, запекшийся черно-багровой коркой обруб, а рядом в болотной грязи валялись вырванные с кожей прядки русских с редкой проседью волос и медный нательный крестик с оборванным гайтаном...

Ни крови на деревьях и кустах, ни лужи вокруг бревенни-

ка девушка не заметила — только чернел и краснел страшный срез отрубленной шеи. Не помня себя от страха, Марфа опять обошла обезглавленное тело по болоту и стрелой помчалась в родную деревню Чулюю.

Через час вся Чулья и весь соседний Анык гудели, как растревоженный улей.

Но странное дело: в этом глухом, сдавленном гуле двух русских деревень с первой же минуты слышался не столько христианский ужас и жалость к неведомому убитому страннику, сколько лютый, животный, цепкий страх за самих себя.

У страха этого были глубокие и давние корни.

Труп без головы лежал на податном лесном наделе деревни Чульи, на самой грани с землей деревни Анык, всего в полутора-двух верстах от их крайних овинов. И в Аныке, и в Чулье в эту весну в каждой третьей избе лежали вповалку больные сыпным тифом; в темном суеверном крестьянском уме давно бродили дикие толки о том, что мор и горячку разносят в своих котомках захожие нищие и странники или напускают по ветру колдуны. А главное — в деревне Чулье у каждого второго домохозяина рыльце было в давнем уголовном пуху, и само слово «следствие» или «обыск» наводило на чульинских мужиков смертную дрожь.

Всего три или четыре года назад в Чулье стряслась великая беда: открылось, что чульинские крестьяне тайно, воровским образом, выделявали у себя по дворам и баням само-

дельный охотничий порох на продажу — «порок работали всей деревней», как говорили в уезде. Три года кряду в Чулье стоял на постое полицейский урядник Александр Александрович, производивший бесконечные розыски и выемки селитры, серы и ступ. А понятыми при всех этих повальных обысках в чульинских избах и клетях полиция неизменно брала соседей из-за леса — благонадежных и трезвых вотяков села Старого Мултана, и в их числе тридцатиоднолетнего Дмитрия Степанова Зорина! Многих чульинских мужиков тогда засудили и угнали в острог; затаенная, черная злоба на мултанских вотяков, «доведших» русскую деревню до тюрьмы, кипела в Чулье в каждом доме — у Кобылиных, у Останиных, у Ворончихиных.

И теперь, когда на чульинском лесном наделе нашли обезглавленный труп нищего, чульинским законам сразу стало ясно: если нагрянут следователь да становой пристав и примутся трясти Чулью да Анык, если начнут допытываться, кто вчера пятого мая рубил лес на чищобе, кто ходил к рыболовным крепям на Люге, кто первым прибежал к мертвецу по рассказу Марфы Головизниной и зачем откинул с него черный азам, — не миновать русским деревням новой беды и каторги!

К вечеру шестого мая к бревеннику у речки Люги сбегались десятки мужиков из Чульи и Аныка. Вокруг трупа еще не было никакой полицейской власти, а десяток пар тяжелых лаптей и сапог уже яростно топтал мокрую траву, мох и грязь

вокруг бревенника — будто бы «искали отрубленную голову», а на деле намертво, до полной неузнаваемости затапывали всякий след, по которому можно было бы определить, с какой стороны — от Аныка ли, от Кузнерки или от Чульи — пришел или был притащен сюда несчастный странник. Кто-то из пришедших снова трогал мертвеца: даже ставили окоченевшее тело на ноги, ворочали его с боку на бок, а черный суконный азам, который вчера покрывал плечи и шею, теперь свернули и продели сзади под холщовые лямки котомки, лишь одной правой полой прикрыв страшный обрез шеи.

И тут же, в сгущающихся сумерках над болотом, среди чульинских и аныкских мужиков, во главе которых стоял сельский богатей и патриарх деревни Чульи, старый десятский Сосипатр Кобылин (которого по-вятски все звали Сипратом) и его сорокапятилетний сын Ефим Сосипатров Кобылин, впервые прозвучало короткое, спасительное для обеих русских деревень слово:

— Братцы... Да ведь это дело не наше! Это дело вотское! Мултанские вотяки нищего своим богам замолили, голову да кровь себе оставили, а тулово на нашу тропу подкинули!

Мысль была так проста, так выгодна и так ловко отводила грозу от Чульи и Аныка прямо на ненавистных мултанских понятых по пороховому делу, что за нее ухватились в один голос. Послали в стан за урядником, выставили у тела караул из восьми чульинских мужиков во главе с тем же Ефимом Кобылиным и грубым, горластым Михаилом Савостьяновым

Кобылиным, а тем временем в Чулье старик Сипрат Кобылин и мужик Останин уже собирали тайный мирской сход.

Судили и рядили на том сходе недолго: становой пристав третьего стана Евгений Михайлович Тимофеев человек известный, даром шагу не ступит, а за хорошую мзду повернет оглобли куда укажут. Положили собрать с деревни Чульи по дворам сто рублей денег — сумму по тому голодному году огромную — и вручить их через десятского Сипрата Кобылина «начальнику», чтобы отвел подозрение от русских деревень и повернул весь розыск на Старый Мултан.

Полицейский урядник Василий Яковлевич Соковиков, прихрамывающий, опирающийся на палку служака из местных уроженцев, приехал к Люгскому болоту только к вечеру седьмого мая — через двое с лишним суток после того, как Марфа Головизнина наткнулась на труп.

Земля вокруг бревенника на полсотни саженой была уже сплошь выбита и перемешана в черное месиво сотнями ног. Соковиков, окруженный густой толпой чульинских и аныкских крестьян, подошел к мертвецу. В заплечной котомке за лямками был заделан черный суконный аяз; внутри котомки урядник разыскал пять фунтов муки в холщовых кошельках, медный стакан, детский чулок и два старостиних удостоверения из Завода Ныртов на имя хвораго падучей болезнью Конона Дмитриева Матюнина. Увидев, что голова отрезана с шеей у самых плеч, а в отверстии шеи запеклась густая

масса черно-багровой крови, Соковиков даже не подумал заглядывать глубже: никаких вынутых грудных внутренностей ни он, ни понятые тогда не заметили. Зато стоило хромому уряднику оглянуться на обступивших его чульинцев, как со всех сторон ему в уши загудели Ефим и Михаил Кобылины.

— Ваше благородие, гляди-ко на лапти! Лапти-то на ем сухие и чистые, и пятка у одной ноги за край лаптя высунулась, и оборы слабо завязаны! Стало быть, не сам он сюда пришел, а мертвого его обували да сюда на руках принесли! А кому принести, кроме мултанских вотяков? У их, у идолопоклонников, злой бог Курбан есть, они ему через сорок годов человека в жертву режут!

Тут же, словно по заказу, из толпы вывернулись аныкский крестьянин Никита Ворончихин и старик из Люги-Какси Евдоким Шутов, которые принялись уверять урядника, будто видели точно такого же нищего в татарской шапке и синей рубахе вечером в понедельник в Старом Мултане на бревнах против дома Степана Мурина (смешав в памяти или по умыслу убитого трезвенника Матюнина с тем пьяным рыжебородым гулякой с корзинкой, которого сотский Семен Красный вывел утром за околицу).

Урядник Соковиков смекнул сразу, откуда ветер дует. Не сделав ни единого обыска ни в Чулье, ни в Аныке, на чьей земле лежал труп, он восьмого и девятого мая повел толпу понятых прямо в Старый Мултан — шарить по дворам и клетям у вотяков, «отличающихся наибольшим религиоз-

ным усердием». Во дворе старика Моисея Дмитриева за дорогами у амбарчика урядник отыскал старое, выдолбленное из липы хозяйственное корыто с следамисечки на дне, в котором Моисей весной, когда начало таять, солил оставшуюся от осени говядину — свежину от зарезанной нетели. На дне и стенках корыта виднелись буро-розовые пятна мясного рассола и животной крови, но Ефим Кобылин тут же на глазах у всех лизнул дерево языком и авторитетно объявил: «Солью не пахнет! Человечья кровь!»

А девятого и десятого мая на место происшествия прибыл наконец сам становой пристав третьего стана Евгений Михайлович Тимофеев.

Первым делом пристав согнал в лес у речки Люги более пятисот человек крестьян из десяти окрестных обществ — русских и вотяцких — искать отрубленную голову и следы преступления. И тут произошло третье по счету чудо с одеждой мертвеца: когда десятого мая Тимофеев приступил к составлению официального протокола осмотра тела, черный суконный аязм, который пятого мая покрывал труп сверху, а седьмого мая при уряднике Соковинове был засунут за лямки котомки, теперь оказался... аккуратно надетым на окоченевшие руки убитого в рукава! Кто и зачем одевал в лесу под присмотром чульинского караула безголового покойника, пристав Тимофеев даже не полюбопытствовал спросить.

Впрочем, у станового пристава были в тот день заботы поважнее.

Когда шумная пятисотенная толпа понятых рассыпалась по лесу и болоту вокруг бревенника, у самого тела начался спор между сельскими должностными лицами: на чьей земле найден мертвец и какому обществу нести тяжкую повинность по его охране? Мултанский сельский сотский, пятидесятилетний рыжебородый Семен Иванов (Семен Красный), стоявший тут же со своей сотской бляхой, видел ясно: труп лежит на наделе деревни Чульи, в двух верстах от русских деревень и больше чем в трех верстах от Мултана.

Но едва заикнулись об этом при писании бумаги, как к становому приставу Тимофееву протиснулся чульинский десятский, седобородый старик Сосипатр — Сипрат — Кобылин. Он стал всячески препятствовать записи, что земля чульинская, а когда Тимофеев для виду объявил: «Чтоб никому не обидно было, первый караул будет Чулья, второй — Анык, третий — Мултан», — старик Сипрат лукаво мигнул приставу и негромко позвал:

— Айда-ко, ваше высокоблагородие, со мной в лесок, вместе следовать будем, я тебе одно примеченное местечко покажу...

Тимофеев охотно отделился от толпы и пошел за чульинским стариком в чащу сосняка и осинника.

Мултанский сотский Семен Красный глядел им вслед, и тревога за свое родное село кольнула его в самое сердце. Он видел, как перешептываются становой барин с чульинским десятским, как оглядываются по сторонам, чтобы никто не

подсмотрел. «Зачем потихоньку говорят? — подумал про себя боязливый, но честный вотяк. — Не иначе, беду на наш Мултан замышляют!» И, пригибаясь за кустами можжевельника и молодыми елочками, ступая бесшумно в своих мягких лаптях по сырому мху, Семен Красный украдкой пошел следом за ними.

Старик Сипрат Кобылин и пристав Тимофеев покружили по лесу, остановились у какой-то огромной поваленной бурей осины. Для отвода глаз Сипрат сперва показал приставу на сломанный сучок — дескать, не тут ли кто проходил, — а потом оба присели на ствол валеной осины и заговорили вполголоса.

Семен Красный затаил дыхание за густым еловым лапником саженьх в десяти от них. Сквозь тихий шелест весеннего ветра до его ушей отчетливо донеслись слова старика Сипрата:

— Тридцать рублей покамест прими, ваше высокоблагородие, сделай милость... А остальные после, погоди маленько, соберем — после отдадим!

В ту же секунду хрустнула под ногой сотского сухая ветка. Пристав Тимофеев круто обернулся, увидел за кустами рыжую бороду и медную бляху мултанского сотского, и лицо его налилось багровой кровью:

— Сотский?! Ты зачем тут шляешься?! Ступай отсюдасию минуту! Нужно яму для тела копать на вашем мултанском поле! Возьми две железные лопатки да две деревянные

лопатки, пошел яму копать, снег из оврага в нее кидать!

Семен Красный в испуге отскочил, пробежал саженой тридцать по лесу, но мысль о том, что у него нет ни лопат, ни понятия, где искать в мае снег, да и жгучее желание доглядеть до конца заставили его снова тихонько, по-заячьи, вернуться назад к валеной осине. И из-за деревьев он своими глазами увидел: старик Сипрат Кобылин достал из-под мышки пухлый кожаный бумажник, вынул из него пачку кредитных бумажек и передал в руки становому приставу, а Тимофеев, вполоборота отвернувшись, быстро пересчитал ассигнации и сунул их к себе в карман!

И снова взгляд пристава упал на застывшего в кустах сотского. Тимофеев вскочил с осины, глаза его метнули молнию — «нашим глазам огонь стрелял!», как с дрожью вспоминал потом на суде Семен Красный, — и, замахнувшись кулаком, становой загремел на весь лес:

— Ты чего опять тут, сотский?!

— Ваше благородие, я снег не понимаю где брать... — пролепетал побелевший удмурт.

— Пош-шел прочь, каналья! Два железной лопатка, два деревянной лопатка — марш яму копать!

А тем временем на другом краю леса, как раз вдоль тропы и межи, ведущей от места находки трупа к русской деревне Анык, рассыпавшиеся цепью понятые из мултанских вотяков — среди которых шли церковный староста Василий Кузнецов, Дмитрий Степанов и Иван Яковлевич — наткну-

лись на настоящие, несомненные следы убийц. В двух местах по направлению к Аныку на земле лежали свежие древесные щепки, густо залитые буро-красной запекшейся кровью, а рядом на молодых березках и елках темнели точно такие же кровавые мазки, словно кто-то нес этим путем отрубленную голову или окровавленное орудие и задевал за ветви!

Понятые бережно подняли окровавленные щепки и принесли их вышедшему из лесу приставу Тимофееву:

— Ваше высокоблагородие, глядите: вот она, кровь-то! Прямо к деревне Аныку след идет!

Пристав Тимофеев, у которого в кармане уже лежали чульинские тридцать рублей (задатком из собранной сотни), едва взглянул на поданные вотяками щепки, брезгливо поморщился и заявил:

— Вздор! Какая же это кровь? Это зимой кто-то дрова вез, кору на дереве ссадил, а весной древесный сок да смола выступили! Верно я говорю, понятые?

Стоявшие вокруг чульинские и аныкские мужики с готовностью загудели:

— Известно, сок, ваше высокоблагородие! Березовый да еловый сок, где ж тут крови быть!

И на глазах у онемевших от возмущения мултанцев становой пристав Тимофеев размахнулся и швырнул окровавленные щепки прямо в мутную воду мельничного пруда, даже единым словом не упомянув о них в своем полицейском протоколе!

Толпа из трех деревень спустилась к самой водяной мельнице Фомы Васильевича Щербакова на речке Люге. Пристав потребовал спустить мельничный пруд — проверить, не брошена ли отрубленная голова на дно под колеса или в омут.

Сам старый мельник Фома Щербаков был в тот день крепко навеселе. Хмель развязал старику язык, а совесть еще не успели зажать начальственным кулаком. Глядя с плотины на сотни сгрудившихся по берегам людей и видя, как полиция с чульинскими богатеями нагло валит вину на безответных вотяков, Фома Васильевич вдруг ударил себя кулаком в грудь, взмахнул шапкой и зычно, на всю плотину, при народе из трех деревень закричал приставу Тимофееву:

— Ваше благородие! Зря на вотяков-то грешите! Это дело русское, а не вотское! Наших русских рук это дело! Пушай воду!

Дрогнула и затихла на мгновение пятисотенная толпа над речкой Люгой. Ни один русский мужик из Чульи и Аныка не посмел тогда крикнуть слово поперек старому мельнику. Сам Фома Щербаков кинулся к вешнякам, выдернул две заборные доски, и бурная весенняя вода с ревом хлынула через прорез, обнажая черное илистое дно пруда.

Становой пристав Тимофеев изменился в лице. Он быстро подошел к раскричавшемуся мельнику, взял его под локоть и увел с плотины сперва на уединенный пчельник, а оттуда — в мельничную избу. Там они заперлись вдвоем, долго пили чай с чем-то покрепче, о чем-то вполголоса толковали

с глазу на глаз — и когда час спустя Фома Щербаков вышел на крыльцо, от его прежней удали не осталось и следа. На все вопросы он теперь угрюмо отводил глаза в сторону и твердил одно:

— Ничего я не знаю, ничего не ведаю, пьян был, мало ли чего с хмелю не сболтнешь...

К вечеру десятого мая пристав Тимофеев приказал раздеть труп Конона Матюнина догола, забрать его одежду в становой мешок, а само нагое обезглавленное тело снять с чульинского бревенника, перевезти через межу на землю села Старого Мултана и зарыть там до приезда судебного следователя и врача в неглубокую яму, набитую последним весенним снегом.

Узелок, завязанный у поваленной осины в чульинском лесу, затягивался все туже.

Примечания к главе:

1. Толчая — небольшая водяная мельница с тяжелыми деревянными пестами и ступами, приводимыми в движение водяным колесом; использовалась крестьянами для толчения овса и ячменя на крупу, измельчения дубовой и ивовой коры для дубления кож, а также для валяния сукна и выделки холстов.

2. Крепи (рыболовные крепи, заколы) (*вятск. диал.*) — весенние заграждения из кольев, плетней и еловых ветвей поперек небольших лесных речек с оставленными проходами для установки вершей и морд при ходе весенней рыбы.

3. Чищоба (росчисть, подсека) (*сев.-рус. и вятск. диал.*) — участок леса, расчищаемый крестьянами от деревьев и кустарника путем вырубki и выжигания пней под новую пашню или сенокосный луг.

Глава 4. Яма со снегом

В воскресенье десятого мая тысяча восемьсот девяносто второго года, перед тем как снять обезглавленное тело Кона Матюнина с узкого бревенника на чульинском болоте и перенести его через межу на сухой лесной косогор старомултанского надела, становой пристав третьего стана Евгений Михайлович Тимофеев составил в присутствии понятых подробный полицейский протокол.

Бумага эта, написанная четким писарским почерком под диктовку самого пристава, ложилась на стол как первый камень будущего следствия. Тимофеев собственноручно велел стащить с окоченевшего трупа надетый в рукава буро-черный суконный азам, синепестрядинную рубаху и штаны, размотать онучи и снять липовые татарские лапти с шерстяными чулками. Обнаженное, могучее, богатырского сложения тело странника с беспальным мизинцем на правой руке перевернули со спины на живот и обратно, оглядели со всех сторон при ярком дневном свете.

И вот что записал и скрепил своей подписью становой пристав Тимофеев десятого мая:

«На рубашке около ворота имеется немного крови, на зи-

пуне на правой поле имеется полосой кровавое пятно, как надо полагать, образовавшееся от закрытия раны, на левой поле зипуна имеются местами пятна, как бы обтирали руки, на воротах зипуна имеется ли кровь разобрать нельзя, вследствие загрязнения ворот грязью, кругом трупа крови несколько не видно, труп роста среднего, телосложения крепкого, голова отрезана с шеей почти у самых плеч и вытянуто горло, но со всеми ли внутренностями разобрать невозможно, потому что внутри отверстие представляет массу запекшейся крови; возле этого отверстия лежащего трупа найдено несколько прядей выходящих русых волос и некоторые из них с оторванной кожей, на животе трупа имеются несколько небольших как бы корост, затянутых запекшейся кровью, более знаков на трупе никаких не имеется».

Никаких перерубленных ребер, никакого высеченного позвоночника, никакой зияющей пустоты в грудной клетке ни пристав Тимофеев, ни урядник Соковиков, ни десятки понятых десятого мая не увидели: шейный разруб был плотно, до самых краев, забит густой, почерневшей и обветрившей на майском воздухе массой запекшейся крови!

Казалось бы, при виде столь необычайного, загадочного злодеяния — обезглавленного трупа, подброшенного со всеми его бумагами, крестом и котомкой на лесную тропу, — уездные власти должны были немедленно, с нарочным конным гонцом, вызвать на место судебного следователя и уездного врача, чтобы в тот же день или на завтра произвести за-

конное судебно-медицинское вскрытие, пока весеннее тепло не разрушило ткани и не стерло следы убийц. Товарищ прокурора Сарапульского окружного суда Николай Иванович Раевский, осуществлявший надзор за следствием в Малмыжском уезде, сам имел диплом врача и лучше всякого юриста понимал, что значит каждый лишний день промедления для трупа в мае месяце и для анализа свежих кровавых пятен.

Но в Малмыжском уезде никто никуда не спешил.

Одежду и вещи убитого увязали в узел, а нагое тело Конона Матюнина уложили в неглубокую яму, вырытую сотским Семеном Красным двумя железными и двумя деревянными лопатами на опушке леса, уже на земле села Старого Мултана, в трех верстах от деревни по направлению к Чулье. На дно ямы и поверх тела набросали грязного, зернистого весеннего снега, наскоблив его по тенивым оврагам и сиверкам, а сверху прикрыли еловым лапником и сухим хворостом.

И в этой лесной яме, под тающим снегом и хворостом, труп оставили лежать без вскрытия ровно на целый месяц — до четвертого июня тысяча восемьсот девяносто второго года!

За этот долгий, томительный месяц майские грозы и теплые ветры окончательно согнали остатки снега в лесах. Распустилась молодая клейкая береза, зацвела черемуха по берегам Люги, отсеялись мужики на яровых полях. Труп в лесной яме оттаял, поплыл в талой снеговой воде, начал взду-

ваться и зеленеть. Караул у ямы несли спустя рукава, больше для отвода глаз: днем посидит на пеньке сонный старик-очередной, покурит трубочку, а ночью, когда в сырой чаще ухнет филин и от ямы тянет тяжелым трупным духом, караульные и вовсе уходили греться к костру на дальнюю опушку или спать по домам. Да и днем к яме то и дело наведывались какие-то люди: мертвеца не раз вытаскивали баграми и веревками на траву, поворачивали, окатывали водой из бадей, показывали прохожим мужикам и снова сваливали в сырую яму под хворост.

А между тем в Старом Мултане и вокруг него уже ползла, разрасталась, обростала зловещими подробностями черная молва, пущенная с легкой руки чульинских богатеев Кобылиных и подхваченная становым приставом Тимофеевым.

Слух этот с каждым днем становился все определеннее и страшнее: вотяки зарезали русского странника в жертву своему кровожадному языческому богу!

Десятский Михаил Савостьянов Кобылин — грубый, горластый чульинский мужик, стоявший в карауле у тела, — на допросах у урядника Соковикова с уверенностью знатока излагал целую «вотскую мифологию», которую он якобы слышал когда-то от неизвестного по имени и глуповатого с виду вотяка Большеучинской волости. По словам Кобылина выходило, что у вотяков есть четыре главных языческих бога: самый грозный и злой из них зовется «Курбан» — ему ежегодно режут жеребенка, а раз в сорок лет обязательно приносят

в жертву живого человека, иначе Курбан найдет на деревню мор и голод; второй бог — «Антас» (или «Аптас»), бог веселый и нетребовательный, которому довольно гуся или утки; третий бог — «Чункан» (или «Чупкан»), требующий теленка, а четвертый — «сатан-черт», которому осенью режут козу! Тут же вспомнили рассказ умершего чульинского лесника, отставного унтер-офицера из татар Рахматуллы Аминова, слышавшего будто бы еще на военной службе от неведомого солдата-вотяка ту же сказку про сорокалетний срок человеческой жертвы.

Ни урядника Соковикова, ни пристава Тимофеева, ни исполняющего должность судебного следователя второго участка Малмыжского уезда Н. Казанского ничуть не смутило, что все эти рассказы исходят от совершенно темных людей, ссылающихся на безымянных покойников или полумных нищих, и что само слово *курбан* означает по-удмуртски вовсе не бога, а жертвенное моление. Напротив: сказка о боге Курбане пришлась как нельзя более кстати! Ведь в старом хозяйственном корыте Моисея Дмитриева нашли следы крови, а на его позье стояла родовая куала!

Одного только доставало в самом трупe Конона Матюнина, чтобы окончательно и бесповоротно связать его гибель с «вотским жертвоприношением».

Все знали — и русские, и вотяки, — что при всяком языческом молении, когда режут бычка, овцу или птицу, боже-ству приносят не одну только голову и кровь, но непременно

вынимают из груди и сжигают на огне или зарывают в землю внутренности жертвы — сердце и легкие (*тыро-пыдо*). А у найденного на чульинском бревеннике нищего отрублена была одна только голова: грудь и живот его были совершенно целы, а шейное отверстие десятого мая при осмотре приставом Тимофеевым было сплошь забито нетронутой массой запекшейся крови!

Если приедет из Малмыжа доктор, разрежет грудную клетку и увидит, что и сердце, и легкие убитого целы и лежат на своем месте, — вся стройная легенда о ритуальном заклании богу Курбану может рассыпаться в прах, и тогда следствию волей-неволей придется искать обыкновенных убийц, отрубивших страннику голову ради сокрытия личности или по дикому тифозному суеверию на меже русских деревень Чульи и Аныка!

И тогда в конце мая тысяча восемьсот девяносто второго года, за несколько дней до назначенного наконец приезда уездного врача и следователя, в глухом ночном лесу над снежной ямой совершилось второе, еще более чудовищное и святотатственное дело.

Ночь выдалась безлунная, глухая, с низкими рваными тучами, бежавшими над вершинами вековых елей. В трех верстах позади мирно спал Старый Мултан, спала за болотом Чулья, и только в кустах у лесной ямы, где под слежавшимся хворостом покоилось нагое тело Конона Матюнина, осто-

рожно зашуршали шаги и глухо звякнуло железо.

Те, кто пришел сюда в полночный час, знали свое дело твердо и не боялись ни мертвеца, ни Бога.

Они быстро разбросали еловый лапник и хворост, выволокли из ямы на траву тяжелое, уже тронутое трупной зеленью и размякшее от месячного лежания в мокром снегу безголовое тело и перевернули его спиной кверху. Зажигать яркий огонь было опасно — светили себе вполнекала потайным фонарем или смоляной лучиной, заслоняя свет полами кафтанов.

Задача перед ночными мясниками стояла непростая: нужно было во что бы то ни стало извлечь из трупа грудные внутренности — сердце и легкие, — но сделать это так, чтобы снаружи на коже груди и спины не осталось ни единого свежего разреза! Ибо всякому понятно: ведь труп десятого мая уже осматривали догола пристав Тимофеев, урядник Соко-виков и понятые и записали в протокол, что никаких ран на туловище нет; если теперь распороть грудь или спину ножом снаружи, врач на вскрытии сразу увидит, что покойника потрошили уже после полицейского осмотра!

Стало быть, добраться до сердца и легких можно было только одним путем — сверху, через зияющий шейный раз-руб.

Но через узкое отверстие между ключицами и первыми ребрами рука взрослого мужика с ножом не пролезет в глубь грудной клетки до самой грудобрюшной преграды. И тогда

невидимый оператор пустил в ход длинный острый нож и узкий топор или плотничье долото¹.

Сначала он вычистил из шейной раны ту самую массу запекшейся крови, которую видел десятого мая пристав Тимофеев. Затем, запустив лезвие ножа под кожу у края отрубленной шеи, принялся кругом отделять — отсепаровывать — размякшую трупную кожу вместе с поверхностными слоями мышц от костяка: спереди до самых ключиц, а сзади, со стороны спины, между лопаток — вниз до пятого грудного позвонка. Кожа трупа подавалась и оттягивалась мешком, оставаясь снаружи совершенно целой и неповрежденной.

Оттянув кожу на спине, ночной мясник наставил под нее вглубь, прямо к основанию ребер у позвоночника, узкое лезвие топора или долота и сильными, расчетливыми ударами — должно быть, колотя обухом другого топора или деревянной колотушкой по наставленному инструменту — перерубил одно за другим пять верхних левых ребер и четыре правых ребра почти у самого позвоночного столба! Пятое правое ребро хрустнуло, надрубленное до половины, а от сильного размаха и упора инструмента на левом краю левой лопатки выломился кусок кости величиной в квадратный дюйм.

Теперь вверху грудной клетки образовалась широкая дыра. Засунув руку с ножом внутрь грудной полости по самый локоть, потрошитель нащупал у самой грудобрюшной преграды — диафрагмы — пищевод, аорту и нижнюю полую

вену, одним ловким движением, не повредив купола самой преграды, подрезал их снизу и выдрал наружу через горловину легкие вместе с сердцем и околосердечной сумкой. А после того, чтобы скрыть следы или еще шире раздвинуть вход в пустую грудь, приставил сзади и снизу под углом в пять градусов долото к пятому грудному позвонку и насквозь перерубил его вместе со спинным мозгом!

Натянули обратно содранную со спины кожу, обмыли тело водой из канавы, опустили обратно в яму и снова закидали хворостом. Внешне труп лежал точно таким же, каким его положили сюда десятого мая.

Но в своей слепой, торопливой хитрости ночные фальсификаторы, сами того не ведая, оставили на мертвом теле Конона Матюнина две роковые, неизгладимые улики, которые четыре года спустя в руках харьковского профессора судебной медицины Феоктиста Александровича Патенко и защитника Владимира Галактионовича Короленко разоблачат весь их адский подлог!

Во-первых, перерубая топором или долотом ребра, позвонки и ломая лопатку, они не знали главного закона удмуртских жертвоприношений: по древнему обычаю вотяков, при заклании жертвы божеству строжайше, под страхом смертного греха, запрещалось ломать или рубить кости животного — их можно было только осторожно разбирать ножом по суставам! А во-вторых, выдрав из груди сердце и легкие, невежественные поддельщики оставили совершенно нетронутой

в брюшной полости печень — между тем как у вотяков именно печень наряду с сердцем и легкими считалась самой главной жертвенной частью (*тыро-пыдо*), которую в первую очередь приносили богам!

Но кому было разбираться в этих тонкостях в июне тысяча восемьсот девяносто второго года в глухом Малмыжском уезде?..

В четверг четвертого июня, в десять часов утра, при ясной, солнечной и уже по-летнему жаркой погоде, к лесной яме в трех верстах от Старого Мултана подъехали наконец тарантасы начальства.

Из экипажей вышли исполняющий должность судебного следователя второго участка Малмыжского уезда Н. Казанский — молодой еще, сухой чиновник, свято веривший каждому слову полицейских донесений, — и малмыжский уездный врач Анатолий Минкевич, пожилой доктор, двадцать пятый год тянувший лямку в уезде, человек в сущности незлой и добросовестный, но робкий перед начальством и легко поддающийся чужому внушению. В качестве понятых к яме привели троих мултанских крестьян-удмуртов: сотского Семена Иванова (Семена Красного), сельского старосту Андриана Александрова и Николая Сергеева.

Еще по дороге из Малмыжа и в самом Мултане судебный следователь Казанский успел основательно подготовить доктора Минкевича. В официальной бумаге — отношении сле-

дователя от двадцать девятого мая за номером двести девятно-восьмым, составившем первый пункт «Предварительных сведений» акта вскрытия, — черным по белому, как уже доказанная истина, значилось:

«Вотяки, несмотря на свою принадлежность к православию, продолжают открыто совершать языческие моления с принесением в жертву животных, а в чрезвычайных случаях и человека, как это видно из показаний свидетеля Кобылина. Для этих жертв требуется голова и внутренности животного... Во дворе Моисея Дмитриева, около двора которого отдыхал нищий, найдено корыто, в которое при молении вотяки сливают кровь жертвы... Все эти обстоятельства, вместе взятые, приводят к заключению, что убийство нищего совершено с целью принесения человеческой жертвы языческому божеству вотяков».

Прочитав такую бумагу от представителя судебной власти, старый уездный врач Минкевич подошел к яме с уже готовой, гипнотизирующей мыслью: перед ним лежит жертва каннибальского языческого ритуала!

Понятые с бледными, каменно-неподвижными лицами вытащили из ямы на траву позеленевшее, полуразложившееся тело. Пахло так тяжело, что следователь Казанский то и дело отходил в сторону, прижимая к носу платок. Доктор Минкевич засучил рукава, взял секционный нож и наклонился над трупом.

Прежде всего, помня рассказы о том, будто язычники

«тыкали» живую жертву ножами, чтобы пить по каплям ее кровь, врач стал искать на теле колотые раны. В нижней части умеренно вздутого живота виднелось несколько — от трех до десяти — небольших буроватых пятнышек величиной от горошины до лесного ореха, которые пристав Тимофеев принял за коросты. Минкевич соскоблил острием ножа отслаивающуюся от гниения верхнюю кожицу, сделал надрез: под кожицей пятна оказались дымчатого цвета и проникали в подкожную клетчатку всего на одну-две линии². Ни малейших следов сквозных проколов, надрезов или ран на животе не было — то были обыкновенные старые пигментные следы от чирьев или накожной сыпи! Но под гипнозом следовательской версии Минкевич записал о них так туманно, что в обвинительном акте эти безобидные пятнышки тут же превратились в «следы прижизненных уколов для добывания крови»!

Затем врач разрезал мягкие ткани на ногах. У лодыжек и на голенях выступила бледно-красноватая трупная жидкость и обнаружились небольшие кровяные свертки, тогда как самые стопы были совершенно чисты и не отечны. Следователь Казанский тут же многозначительно наклонился к уху врача: — Анатолий Иванович, а не могло ли это произойти от того, что жертву при жизни подвешивали за ноги к балке головой вниз, чтобы выцедить всю кровь? Ведь пристав и понятые говорят, будто на лодыжках были следы от веревок!

Будь Минкевич посмелее и повнимательнее, он сразу бы

возразил следователю: если живого человека подвесить за ноги, кровь неизбежно прильет к самому низу и распухнут прежде всего ступни ног, а здесь стопы совершенно сухи; да и как может «обескровиться» тело и спастись бедренные вены, если в протоколе пристава десятого мая записано, что шея была забита массой запекшейся крови, а остальная жидкость просто стекла и испарилась за месяц лежания и обмывания трупа в яме? Но протокола пристава Тимофеева от десятого мая следователь врачу не показал!

А когда доктор Минкевич заглянул в шейный разруб, отвернул отсепарованную до пятого грудного позвонка кожу, увидел перерубленные с гладкими краями девять ребер и позвонков и обнаружил, что вся грудная полость до самой куполообразно выгнутой грудобрюшной преграды совершенно пуста — ни сердца, ни околосердечной сумки, ни легких нет, а на дне грудной клетки сочится из перерезанного пищевода сероватая каша (остатки того самого утреннего завтрака и чая у старосты Санникова в Кузнерке!), — старый уездный врач окончательно растерялся.

Двадцать пять лет он вскрывал мертвецов в Малмыжском уезде, но такого чудовищного, непонятного потрошения под целой кожей не видывал ни разу! Он понял одно — что ребра, позвонки и внутренности вырублены уже у мертвого человека («по всей вероятности уже у мертвого Матюнина был вырублен позвоночник и вырезаны внутренности грудной полости умышленно для какой-либо надобности», чест-

но записал он в своем заключении). Но в конце акта, уступая настойчивым расспросам следователя Казанского, уездный врач собственной рукой приписал роковую фразу, которая стоила свободы десятку невинных семей:

«Повреждения на голенях могли произойти в предсмертной борьбе с убийцами, а может быть и от подвешивания за ноги во время убийства с целью обескровить труп, если бы к этому случилась надобность (как напр. при жертвоприношениях вотских)».

Дело было сделано. Научная печать под чульинской клеветой была поставлена.

Теперь следственная машина, подталкиваемая невидимой рукой из Сарапула и Малмыжа, покатила прямо по улицам Старого Мултана.

Еще семнадцатого мая судебный следователь Казанский вместе с урядниками Соковиковым и Рогозиным нагрянул на усадьбу шестидесятипятилетнего старика Моисея Дмитриева осматривать родовую куалу рода Учур. Следователь обошел темный четырехстенный сруб, покосился на закопченный образок святителя Николая Чудотворца в переднем углу, потрогал сапогом сырую от растаявшего зимнего снега землю посреди пола у входа и приказал набрать с поверхности земляного пола несколько проб земли в берестяной бумрак, который тут же опечатал сургучными печатями — искать в лаборатории человеческую кровь! Затем понятые с ло-

патами перерыли весь земляной пол шалаша сверху донизу. Никакой человеческой головы и никаких человеческих костей в куале, разумеется, не оказалось — вырыли только возле очага у задней стены старый, пожелтевший костяк бычьей головы от жертвенного бычка, зарезанного четыре года назад на Покров, да несколько мелких овечьих и коровьих косточек.

Осмотрели и соскоблили стружки со столов, со скамеек и с верхней деревянной балки-перекладины, где среди вековой пыли и паутины торчали прилипшие шерстинки домашних животных (которые пристав Тимофеев и урядники торжественно объявили «прядью человеческих волос из бороды Матюнина», хотя Вятское врачебное отделение потом категорически удостоверило, что это вырванные волосы овец и коров!). Забрали в качестве главных вещественных доказательств старое деревянное корыто из-под солонины и запла-танный холщовый полог из клетки, на котором под висевшей с осени говяжьей свежиной натекло восемь бурых пятен. И корыто, и полог следователь Казанский продержал у себя в канцелярии без движения целых четыре месяца — до пятнадцатого сентября, — пока все кровавые шарики в пятнах окончательно не распались от времени и жары и Медицинский департамент в Петербурге уже не смог определить ничего, кроме того, что кровь эта принадлежит «млекопитающему животному», а присохшие к корыту волоски напоминают овечью шерсть!

А двенадцатого июня тысяча восемьсот девяносто второго года следователь Казанский вызвал на допрос старика Моисея Дмитриева.

Шестидесятипятилетний хозяин куалы стоял перед столом следователя прямо, спокойно и с полной, бесхитростной откровенностью рассказал все как на духу: и про то, что в его шалаше молятся четырнадцать дворов рода Учур дважды в год — в Крещение и Пасху — хлебом и пивом; и про то, как четыре года назад на Покров резали всем родом купленного у Кузьмы Антонова бычка; и про то, кто состоит в куале *бадзым-вöсясем*, а кто *тöр-вöсясем*; и про то, что в корыте он весной солил оставшуюся от осени нетель, потому что семьей в семь человек за зиму всю говядину не съели.

— Виновным себя не признаю, ваше высокоблагородие, — твердо сказал старик Моисей. — Нищего я вечером четвертого мая на улице не видал, и человеческих жертв у нас, вотяков, от века не бывало. То великий грех перед Инмаром.

Ему не поверили. Старика Моисея Дмитриева тут же взяли под стражу, оторвали от плачущей молодой жены Василисы Гордеевой и двенадцатилетнего сынишки Кости и под конвоем отправили за пятьдесят верст в сырой каменный каземат Малмыжского тюремного замка, откуда живым ему уже не суждено было выйти. Вслед за ним схватили и бросили в арестантскую при Старотрыкском волостном правлении двадцативосьмилетнего внука деда Акмара — тихого жреца с керемети Михаила Титова, а затем и главного молитвенни-

ка учурской куалы Дмитрия Степанова Зорина.

Вокруг запуганного, оцепленного полицией Старого Мултана закружили, как воронье над падалью, охотники до легкой поживы.

Прикомандированный к розыску полицейский урядник Аким Пантелеев Жуков — бывший приказчик мултанского торговца Репина, продувной и наглый малый в потертой форменной шинели — смекнул, что на «вотяцком деле» можно погреть руки не хуже станового пристава Тимофеева. Осенью он явился вечером в избу к самому состоятельному человеку в селе — церковному старосте Василию Кузьмичу Кузнецову, у которого в ту пору плотничал русский крестьянин из деревни Капков Павел Пивоваров.

Плотник Пивоваров, зайдя в сумерках в избу разуться перед ужином, своими ушами слышал, как урядник Жуков, подойдя к перегородке, за которой лежал больная жена старосты, фамильярно клячил у хозяина:

— Слышь, Василий Кузьмич... Нет ли у тебя рублей пяток взаймы, не надолго? Овса купил, поиздержался!

Кузнецов вышел из-за перегородки и спокойно ответил:

— Нет, слышь, Аким Пантелеевич, у меня теперь свободных денег нет.

Но урядник Жуков не отступился. Через несколько дней, третьего ноября, после ярмарки на Кузьму-Демьяна в Волипельге, он снова подкатил на запряженной лошади к воротам Кузнецова и в присутствии Николая Петровича Мури-

на слезно стал просить займы десять рублей на неделю или десять дней — «вот только хозяйка придет, сейчас отдам, ведь я у вас в Мултани семь месяцев в сидельцах жил, свой человек!»).

Добросердечный Василий Кузьмич поверил бывшему сидельцу: вынул из бумажника две трехрублевые бумажки и четыре рублевки — всего десять рублей — и дал уряднику займы (так что на другой день, когда плотник Пивоваров попросил сверх заработанных восьми рублей еще двугривенный или два рубля на подать, Кузнецов развел руками: «Вчера Кощееву в Полянах триста рублей по счету отдал да уряднику Жукову десятку займы дал, пусто в кармане!»).

А урядник Жуков, получив десять рублей и встретив затем Кузнецова у лавки Кощеева в Вятских Полянах, вдруг потребовал с него еще двадцать пять рублей — «на новую шинель»! Поняв, что полицейский крючок просто вымогает с него деньги, честный староста наотрез отказался давать хоть копейку.

И тогда взбешенный урядник Жуков вытащил из кармана занятую десятку — две трешницы и четыре рублевки — и положил ее на стол судебному следователю Казанскому с рапортом: дескать, богатый мултанский вотяк и церковный староста Василий Кузнецов подкупал меня, урядника, десятью рублями и сулил еще двадцать пять, чтобы я «оправил и оставил его по делу об убийстве нищего»!

Черная туча нависла над Старым Мултаном. Вслед за Мо-

исеем Дмитриевым и Дмитрием Степановым под следствие попали и одноглазый мясник Кузьма Самсонов (которого в бабьей перебранке со снохой со зла оговорила мачеха Евдокия Филимонова), и суточный Василий Кондратьев, и сотский Семен Красный, видевший передачу тридцати рублей приставу Тимофееву в чульинском лесу, и жрец Андриан Андреев за свой весенний сон о «двуногом», и даже девяностолетний полуглухой старец дед Акмар да церковный староста Василий Кузнецов.

Но то были еще только первые цветы беды. Настоящий застенок ждал мултанцев впереди — когда из Сарапула примчится вдохновитель процесса товарищ прокурора Николай Иванович Раевский, а в Старый Мултан въедет на смену Тимофееву новый становой пристав четвертого стана Николай Александрович Шмелев с кульками соленой селедки, ременной петлей и медвежьим чучелом.

Примечания к главе:

1. Долото — плотничий и столярный инструмент с узким стальным лезвием и рукоятью, по которой наносят удары деревянным молотком (киянкой) или обухом для выдалбливания пазов и перерубания твердой древесины. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что перерубить ребра и пятый грудной позвонок внутри грудной клетки Матюнина без повреждения кожи можно было только наставленным долотом или очень узким топором уже на окоченевшем трупе.

2. Линия — старая русская мера длины, равная 1/10 дюйма, или 2,54 миллиметра.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЕДВЕЖЬЯ ПРИСЯГА И СЕЛЕДОЧНЫЙ ЗАСТЕНОК

Глава 5. Человек с идеей

Весна тысяча восемьсот девяносто третьего года шла по Каме и Вятке тяжело, с долгими туманами, с хмурым ледоходом, ломавшим прибрежный тальник, и с вязкой, непролазной распутицей по уездным трактам. Прошел ровно год с того майского дня, когда крестьянская девушка Марфа Головизнина наткнулась на лесном бревеннике в трех с половиной верстах от Старого Мултана на обезглавленное тело припадочного нищего Конона Матюнина.

За этот год в сырых, пропахших сургучом, лампадным маслом и мышинным пометом канцеляриях Малмыжа и Сарапула дело о мултанском убийстве успело разбухнуть, обветшать по краям и покрыться бурой архивной пылью. Но чем толще становились подшитые суровой ниткой тома предварительного следствия, тем безнадежнее зияла в них пустота.

В начале июня в кабинет товарища прокурора¹ Сарапульского окружного суда Николая Ивановича Раевского доставили наконец долгожданные пакеты за казенными печатями из Казани и Вятки. Это были акты судебно-химического и микроскопического исследования вещественных доказа-

зательств, произведенного в лаборатории медицинского факультета Императорского Казанского университета и во Вятском врачебном отделении губернского правления.

Николай Иванович Раевский сидел за широким, обтянутым зеленым сукном письменным столом у полуоткрытого окна, выходявшего на тихую сарапульскую улицу, где в теплой пыли лениво купались воробьи, а с берега Камы доносился протяжный, глухой гудок буксирного парохода. Раевскому шел четвертый десяток. Это был человек невысокого роста, сухощавый, подтянутый, с бледным, точно выточенным из желтоватой кости лицом, тонкими, плотно сжатыми губами и холодным, пристальным взглядом серых глаз за золотыми ободками пенсне. В судебное ведомство он пришел не со студенческой скамьи юридического факультета: прежде он имел диплом врача, но рано оставил хлопотливую, неблагодарную земскую практику ради прокурорского мундира с золотым шитьем на стоячем воротнике. От прежней медицинской профессии в нем осталась лишь привычка смотреть на живого человека — будь то свидетель, потерпевший или обвиняемый — как на анатомический препарат, да еще особое, педантичное пристрастие к ученым терминам, которыми он любил щеголять в обвинительных актах.

Но главным свойством натуры Николая Ивановича было затаенное, болезненное, день и ночь точившее его честолюбие. Служба в глухом уездном Сарапуле, среди купеческих лабазов, кожевенных заводов и бесконечных крестьянских

тяжб о потравах, кражах хомутов да пьяных драках на покосах, казалась ему нестерпимым прозябанием. Он чувствовал себя человеком столичного склада, случайно занесенным судьбою в прикамское захолустье, и с жадным нетерпением ждал случая — громкого, необыкновенного процесса, о котором заговорили бы газеты от Казани до Петербурга, который обратил бы на скромного сарапульского товарища прокурора благосклонное внимание судебной палаты и самого министерства юстиции.

Разрезав костяным ножом плотную синюю бумагу казанского пакета, Раевский поправил пенсне и углубился в чтение. По мере того как глаза его бежали по ровным, писарским почерком выведенным строкам экспертного заключения, тонкие брови его все выше ползли ко лбу, а на скулах проступали сухие розовые пятна досады.

Вся кропотливая постройка, которую в мае и июне прошлого, девяносто второго года возводили на месте преступления полицейский урядник² и исполнявший должность судебного следователя второго участка Малмыжского уезда Казанский, рассыпалась от одного прикосновения университетского микроскопа, как сухой торф.

Эксперты исследовали всё, что следствие с такой торжественностью изъяло при повальных обысках в Старом Мултане и отправило за сотни верст в опечатанных ящиках и банках. И что же оказалось?

В буроватых комьях земли, выскобленных следователем

из глинобитного пола семейного шалаша-куалы³ старика Моисея Дмитриева — там, где уряднику и понятным чудилась пролитая человеческая кровь, — химический анализ и спектральное исследование не обнаружили ни малейших следов гемоглобина. Это была самая обыкновенная земля, смешанная с древесной золой, сажей и крупинками овсяной муки.

На четырех узких плотничьих и лесных топорах, отобранных у мултанских вотяков в качестве предполагаемых орудий обезглавливания, не нашлось ни единого кровавого пятнышка — только обыкновенная бурая ржавчина от сырости да смоляной налет от сосновой щепы.

На сером холщовом пологе и посконных штанах одноглазого мултанского резника Кузьмы Самсонова темные заскорузлые полосы оказались вовсе не кровью, а грязью, дегтем и растительными пятнами.

Но сокрушительнее всего был ответ лаборатории относительно главной улики — деревянного корыта, найденного на дворе у того же Моисея Дмитриева. Следователь Казанский в своем протоколе осмотра описал это корыто с необыкновенным тщанием: длиною в один аршин и один вершок⁴, шириною в девять с половиной вершков, с несквозною зарубкой на боку, залепленной мякишем ржаного хлеба, и с темными потеками в трещинах древесины. В воображении следствия это корыто уже рисовалось жертвенным сосудом, над которым язычники-инородцы⁵ резали живого человека, подстав-

для дерево под струю горячей крови.

Казанские профессора вырезали из подозрительных мест корыта тончайшие древесные стружки, размочили их в реактивах и положили под объектив микроскопа. Заключение гласило с неумолимой научной сухостью: из всех подозрительных пятен лишь в трех крохотных точках обнаружены следы крови, однако кровавые шарики в них имеют явственно выраженную овальную форму и снабжены ядрами. Всякому врачу — и бывшему медику Раевскому прежде других — с первого курса университета было известно: у человека и всех вообще млекопитающих красные кровяные тельца круглы и безъядерны; овальные же шарики с ядрами принадлежат исключительно птицам, рыбам или пресмыкающимся! В мочальной кудельке, которою была заткнута щель в корыте, и в прилипшем к стенкам соре эксперты нашли только шерстинки крупного рогатого скота и овец. Выходило в точности так, как с первого дня твердили на допросах сам старик Моисей Дмитриев и его жена Василиса Гордеева: в старом корыте зимой солили говядину от заколотой дома нетели⁶, а в будние дни чистили в нем речную рыбу да ощипывали домашнюю птицу.

Мало того: из ста двух волосков, собранных следователем со стен, бревен и пола общественного шалаша-куалы, девяносто семь оказались коровьей, конской и овечьей шерстью от обычных крестьянских тулупов и жертвенных шкур, а пять человеческих волосков по цвету, толщине и строению

не имели ничего общего с волосами убитого Конона Матюнина.

Раевский отбросил казанскую бумагу на зеленое сукно, снял пенсне и долго протирал стекла батистовым платком. Без очков его узкое лицо с прищуренными, близорукими глазами казалось еще суше и жестче.

Всякому другому юристу на его месте вывод представился бы ясным и бесспорным: первоначальное подозрение, павшее на жителей села Старый Мултан по слепому навету русских соседей из деревни Тайши и починка Ишек, опровергнуто точным знанием. Труп Матюнина был найден на земле мултанского общества, близ лесной тропы, но ведь за неделю до того в трех верстах, в русской деревне Анык, этого самого Матюнина с его товарищем Максимом Марковым напоили до бесчувствия на деревенской свадьбе, а наутро видели, как какой-то человек в белом понитке⁷ тащил хмельного старика за воротник к лесу. Могли убить из озорства или ради нищенских грошей, а потом, желая свалить вину на ненавистных «богатеев-вотяков», изуродовать остывшее тело и подбросить его на мултанский выгон...

Но мысль об отказе от первоначальной версии показалась Николаю Ивановичу почти личным оскорблением. На краю его стола лежала книга в серой бумажной обложке, изданная три года назад в Казани: *«Вотяки. Историко-этнографический очерк»* профессора Ивана Николаевича Смирнова. Вся она пестрела карандашными пометками Раевского. Уче-

ный профессор, собирая по прикамским и вятским уездам старинные предания и рассказы о языческих верованиях удмуртов, глухо упоминал о том, что в глубокой древности, во времена войн, голодовок и повальных падежей скота, предки вотяков будто бы приносили своим грозным божествам — Кереметю или Курбону⁸ — человеческие жертвы. Правда, сам автор оговаривался, что сведения эти почерпнуты больше из темной молвы соседнего русского населения да из преданий о временах незапамятных, но для воображения Раевского этих книжных страниц было совершенно достаточно.

«Кровь на корыте птичья? — мысленно возражал он казанским химикам, шагая по кабинету от окна к изразцовой печи. — Положим! Но разве фанатики, совершающие вековое таинство, станут оставлять немытую посуду на виду у всей деревни целых три недели, дожидаясь приезда станового и следователя? Они вымыли корыто щелоком, а после нарочно резали над ним кур или чистили рыбу, чтобы сбить с толку правосудие! Наука смотрит в пробирку, а прокурор должен смотреть в бездну народного изуверства!»

Ему уже мерещилась картина будущей выездной сессии суда: переполненный зал, корреспонденты газет, затаившие дыхание присяжные заседатели... И он, Николай Иванович Раевский, спокойным металлическим голосом вскрывает перед девятнадцатым столетием страшную язву: под боком у православных храмов и земских школ в тени языческих шалашей поныне льется человеческая кровь во славу идола

Курбона!

Одно только мешало этому построению: в деле не было ни единого прямого свидетеля, ни единого сознания, ни одной улики, кроме отрезанной головы и вырезанных внутренностей нищего. Судебный следователь Казанский топтался на месте и явно клонился к тому, чтобы прекратить дело.

— Тут нужен не белоручка в форменной фуражке, — вслух произнес Раевский. — Тут нужен человек с железной хваткой, перед которым мужик не посмеет отмалчиваться...

В конце июня Николай Иванович выехал по делам службы в Малмыжский уезд. Формально село Старый Мултан входило в третий полицейский стан, которым заведовал становой пристав⁹ Тимофеев — служака неповоротливый и не веривший в басни о человеческих жертвоприношениях. Зато в соседнем, четвертом стане служил другой пристав — Николай Александрович Шмелев.

О Шмелеве по всему уезду шла грозная слава. Это был коренастый, широкоплечий человек лет сорока пяти, с бычьей шеей, багровым лицом, жесткими усами с проседью и тяжелыми волосатыми кулаками. Говорил он сиплым басом и на всю полицейскую службу смотрел просто, без либеральных затей, занесенных судебными уставами шестьдесят четвертого года¹⁰. По убеждению Шмелева, всякий мужик — а тем паче безответный лесной вотяк — рассказывает правду лишь тогда, когда у него в глазах потемнеет от страха и крутого полицейского кулака. Еще недавно в том же уезде, рас-

следуя дело об убийстве старухи Чайкиной, Шмелев сумел в несколько дней так «прижать» подозреваемых в арестантской избе, что те подписали всё, что требовалось.

Двадцать восьмого июня тысяча восемьсот девяносто третьего года — спустя четырнадцать месяцев после убийства Конона Матюнина — товарищ прокурора Раевский имел со становым приставом Шмелевым долгую беседу с глазу на глаз. Впоследствии Шмелев с солдатской прямоотой напишет в первой же строке своего рапорта: *«Вследствие личного поручения господина товарища прокурора Сарапульского окружного суда Раевского, данного мне 28 июня сего года, я прибыл в село Мултан для производства негласного разведывания...»*

Разговор между бледным питомцем университетской науки и багровым уездным бурбоном¹¹ происходил за плотно притворенными дверями.

— Поймите меня правильно, Николай Александрович, — чеканя каждое слово и поблескивая стеклами пенсне, говорил Раевский. — Перед нами круговая порука целой языческой общины, совершившей обрядовое, жертвенное убийство. Старики-вотяки связаны страхом перед своими богами и клятвою молчания. Но в каждой такой толпе есть слабые звенья — молодежь, женщины, люди, затаившие обиду на своих богатеев. Стоит вынуть из свода один камень — и рухнет вся постройка!

Шмелев сидел на краешке стула, широко расставив обу-

тые в тяжелые дегтярные сапоги ноги, и с полным пониманием слушал начальство.

— Так точно, Николай Иванович, — прогудел он. — С ними в белых перчатках каши не сварить. Они в своем Мултане как в крепости засели: старики богатые, хлеба у каждого по восьми скирдов стоит, староста сельский у них свой... Только вы уж, ваше высокородие, дозвоьте мне в чужом стане руки не связывать. Коли взяться за них по-нашему, по-полицейски — в неделю все потроха выложат!

Раевский тонко улыбнулся одними углами сухих губ.

— Меня интересует результат — раскрытие истины в интересах правосудия. А какими путями вы побудите свидетелей и соучастников к откровенности — это дело вашей служебной находчивости. В помощь вам дается полицейский урядник Жуков, прекрасно знающий местное население, а со стороны лесного ведомства вам окажет содействие лесничий Кронид Васильевич Львовский.

Через два дня тарантас пристава четвертого стана с грохотом и звоном колокольчика влетел по пыльному проселку в село Старый Мултан. Только-только отсеялись яровыми и собрались ладить косы к Петрову дню¹² — и вдруг снова у крыльца съезжей избы¹³, которую содержала в селе бойкая мещанка Марья Ивановна Шлеймер, остановилась полицейская повозка, и в раскрытые окна полетел громовой бас:

— Старосту сюда! Сотских! Живо, одна нога здесь, другая там!

Вокруг приехавшего Шмелева в тот же день собралась целая компания доброхотных помощников. Первым явился полицейский урядник Аким Пантелеев Жуков — высокий, жилистый детина с бегающими глазками и щегольски закрученными усами. С мултанскими вотяками у него были давние счеты. До поступления в полицию он несколько лет жил в этом селе, служа приказчиком в лавке купца Репина, и вдоль и поперек изучил достаток каждого двора.

Когда год назад разнеслась весть о найденном в лесу безголовом теле, Аким Жуков смекнул, что из этого дела можно выжать немалую поживу. Самым зажиточным и грамотным человеком среди мултанских удмуртов был тридцативосьмилетний церковный староста Василий Кузьмич Кузнецов — крестьянин умный, степенный, читавший русские книги и газеты. К нему-то и подъехал однажды урядник Жуков с двусмысленной ухмылкой:

— Слышь, Василий Кузьмич, худое дело про вас бают... Будто вы нищего-то всем миром зарезали. А впрочем, я человек свой... Выручи по-дружески: одолжи десять целковых, мне как раз новую форменную шинель справить надо!

Расчет урядника был коварен: даст богатый вотяк десятку — значит, откупается от полиции, и тогда из него можно будет тянуть сотни рублей; а не даст — можно повернуть дело так, будто Кузнецов сам пытался подкупить урядника! Но Василий Кузнецов сразу раскусил ловушку. Спокойно глядя в бесстыжие глаза Жукова, он ответил:

— Денег я тебе, Аким Пантелеевич, не дам. Греха за нами перед Богом и царем нет, бояться мне нечего, а шинель себе справляй на свое жалованье.

Жуков ушел тогда ни с чем, поклявшись при случае упечь гордого церковного старосту под каторгу. И вот теперь этот час настал.

Следом за урядником в съезжую избу потянулись главные деревенские недоброжелатели вотяков — русские крестьяне, жившие в земельных спорах с удмуртским обществом: двоюродные братья Константин и Дмитрий Степановы Мурины. Земля у мултанских вотяков была ухоженная, жили они дружно, подати платили исправно и нередко нанимали обедневших соседей на жнитво или ссужали хлебом. Зависть к чужому достатку, переплетенная с суеверным презрением к «нехристям», давно искала выхода, и оба брата Муриных тотчас сделались при становом добровольными сыщиками и наушниками.

Но самой колоритной фигурой в этом кружке был местный лесничий Кронид Васильевич Львовский, готовившийся занять властное кресло земского начальника¹⁴. Грузный, представительный барин с окладистой бородой, в зеленой тулупе с лесными пуговицами, Львовский считал себя великим знатоком народного быта и следопытом. В прихожей его дома стояло во весь рост огромное черное чучело медведя с оскаленной пастью, в передние лапы которого практичный хозяин приспособил ставить свои трости, зонтики и длинные

ясеневые чубуки для трубок.

Еще зимой, семнадцатого и восемнадцатого января девятнадцатого третьего года, поверх глубоких полуторааршинных сугробов, Львовский лично составил для следователя топографический план местности между селом Мултаном, деревней Анык, починками Ишек и Кузнеркой и местом находки трупа у ручья Табанек. План этот стал главным козырем товарища прокурора Раевского: на нем из деревни Анык выходили только две дороги, образуя узкий лесной клин, острием упиравшийся прямо в Старый Мултан! Всякому, кто смотрел на этот чертеж, казалось: куда бы ни пошел пьяный нищий Конон Матюнин из деревни Анык, он неизбежно должен был попасть прямо в руки мултанских вотяков, которые затем по прямой летней тропинке вынесли обезглавленное тело в лес.

Правда, любой пастух знал, что план лесничего — сплошная выдумка. В действительности из деревни Анык шла еще третья, торная дорога — на починок Кузнерку, и именно у этой кузнерской дороги лежал тот самый «клин» пахотной земли Тимофея Вершинина, о котором говорили первые свидетели! А прямая «тропинка», которую Кронид Васильевич провел пунктиром от Мултана к месту находки трупа, в майское половодье проходила через такую бездонную трясину и разлившийся ручей, что пробраться там ночью с тяжелой ношей было совершенно немыслимо. Однако такие мелочи несколько не смущали Львовского. Когда при нем зашла речь о том, что казанские профессора не нашли на мул-

танском корыте человеческой крови, он с апломбом старого охотника заявил:

— Экая невидаль — микроскоп! Узнать человеческую кровь проще простого: надобно взять сытую, до отвала накормленную собаку и подвести к пятну. Ежели кровь скотская или птичья — сытый пес отвернется; а ежели человеческая — непременно станет лизать! Уж это верная примета!

В первый же вечер по приезде в Старый Мултан пристав Шмелев устроил в чистой половине съезжей избы у Марьи Ивановны Шлеймер военный совет. На столе кипел пузатый медный самовар, стояла четверть очищенной водки, тарелка с солеными рыжиками и нарезанная крупными ломтями копченая колбаса. В горнице было накурено так, что сизый махорочный и папиросный дым плавал слоями вокруг жестяного абажура висячей лампы.

Шмелев в расстегнутом мундире, без галстука, сидел во главе стола, наливал граненый стаканчик и, прищулив левый глаз, слушал доклады урядника Жукова и Дмитрия Мурина.

— Значит, так, — гудел становой, пристукивая тяжелым кулаком по клеенке. — Главное гнездо у них — род Моисея Дмитриева и старика Андрея Григорьева, которого по-деревенски Акмаром кличут. Так я понимаю?

— Точно так, ваше благородие, — угодливо поддакнул Дмитрий Мурин, пододвигаясь ближе и понижая голос до заговорщицкого шепота. — У них тут три рода вотяцких живут: род Учур, род Чунья и род Зюмья. И у каждого рода свой

шалаш моленный есть, куала по-ихнему. А самая большая, семейная да старинная куала — как раз на дворе у Моисея Дмитриева, возле самой речки. Они в той куале всем родом молятся: телят, овец, гусей да уток режут, в котлах варят, кумышку¹⁵ пьют, а старик Акмар — хоть ему без малого восемьдесят годов и ногами он еле бродит — у них за главного молельщика, за жреца состоит. И внук его, Михайло Титов, парень молодой, двадцати восьми лет, тоже при деде в лесной керемети за попа-вöсяся¹⁶ правит!

— Ага! — протянул Шмелев, делая жирную отметку карандашом в своей памятной книжке. — Стало быть, жрецы! Это как раз то самое, об чем мне Николай Иванович Раевский толковал. Ну, а кто у них тут заводили и богатеи?

— Первый человек у них — Васька Кузнецов, церковный староста, — с ненавистью в голосе ввернул урядник Жуков, и глаза его злобно блеснули. — Грамотей, ваше благородие, законник! Намедни, как прослышали они, что снова дознание начинается, он мужикам в открытую говорил: «Ничего не бойтесь, без улик да без свидетелей суд в каторгу не пошлет!» За ним — Кузьма Самсонов, кривой, на один глаз слепой: он у них при всех молениях скотину режет, рука у него твердая, привычная. Потом — Семен Иванов, по прозвищу Семен Красный, борода у него рыжая, как огонь; он в ту весну, как нищего-то убили, сотским¹⁷ был. А суточным в ту ночь, с четвертого на пятое мая, стоял Василий Кондра-

тьев, по-уличному Васька Кондин!

— Постой, постой, — перебил Шмелев, нахмутив седеющие брови. — Ведь про этого Кондратьева в старом деле писано, будто он в тот самый день не в Мултани был, а ездил за двенадцать верст в волостное село Старый Трык за семенным овсом и ночевал там?

Жуков пренебрежительно усмехнулся и сплюнул на пол.

— Мало ли что они там наплели прошлому следователю, ваше благородие! Ворон ворону глаз не выклюет. Вы их только прижмите в темной-то избе — сразу забудут, кто где ночевал! А чтобы старики не больно хорохорились, надобно с молодых да с ребятишек начать. Есть у меня на примете два человека: во-первых, сам внук Акмаров, молодой жрец Михайло Титов — парень смирный, пугливый, жидковатый на расправу; а во-вторых, сынишка самого Моисея Дмитриева, Костя, тринадцати годов мальчонка. Мальчишку припугнуть кнутом да острогом — он на родного отца что хошь покажет!

Шмелев медленно выпил водку, крикнул, утер усы ладонью и обвел тяжелым, удовлетворенным взглядом своих подручных.

— Дело говоришь, Аким, — прогудел он. — Стариков мы покамест всех гуртом в арестный амбар при сельском правлении засадим. Пусть там в духоте да в тесноте посидят, подумают. И вот что, братцы, запомните крепко-накрепко...

Становой наклонился над столом, и багровое лицо его в желтом свете лампы стало зловещим и неподвижным, как

медная маска.

— Инородец — тварь терпеливая, — сказал он глухо. — Голодом его сразу не проймешь: он привык лебеду с мякиной жевать да по три дня в лесу на сухаре перебиваться. А вот жажду, братцы мои, жажду в летний зной ни один человек не выдержит! Жара нынче вон какая стоит — в тени дух захватывает. Ты, Аким, завтра же с утра поезжай в лавку, купи на мой счет полпуда самой старой, ржавой, пересоленной селедки да соленой трески, чтобы от нее во рту как от огня горело. Кормить арестованных только этой селедкой! Вволю кормить, не жалеть! А воды — ни единой капли не давать! Ни глотка! Караульных у амбара поставить верных, из русских мужиков, чтобы ни бабы, ни ребятишки с кувшином на пушечный выстрел не подошли. Через трое суток у них язык к гортани присохнет и в глазах зеленые круги пойдут — вот тогда они у меня за милую душу любую песню запоют! А для тех, кто покрепче окажется, у нас в запасе ремень под матицу¹⁸ да револьвер найдется!

Дмитрий Мурин хихикнул в кулак, крутя головой от восхищения перед начальственной премудростью, а урядник Жуков вытянулся и гаркнул:

— Слушаюсь, ваше благородие! Уж такая селедка у лавочника припасена — чистый яд и разор!

За окнами съезжей избы опускалась тихая июньская ночь. Над крышами Старого Мултана, над старыми ветлами у речки Мултанки и соснами рощи, где молились лесные паха-

ри доброму богу Инмару, высыпали летние звезды. В старой куале на дворе шестидесятипятилетнего Моисея Дмитриева догорали угли в очаге, и старик хозяин, помянув светлого Инмара и Николая Угодника, лег на лавку, думая о том, что завтра чуть свет надо идти с сыном Костей поправлять изгородь вокруг овсяного поля.

Он не знал, что наутро его дом окружают стражники, в ворота забарабанили прикладами, и для всего села начнется долгая, кровавая страда, которую народ назовет «селедочным застенком».

Примечания к главе:

1. Товарищ прокурора — в Российской империи после судебной реформы 1864 года штатный помощник (заместитель) прокурора окружного суда, непосредственно осуществлявший надзор за предварительным следствием в уездах и поддерживавший государственное обвинение в судебных заседаниях.

2. Полицейский урядник — нижний чин уездной полиции (учрежден в 1878 году), подчинявшийся становому приставу и осуществлявший непосредственный полицейский надзор в пределах нескольких волостей или крупных сел.

3. *Куала (удм. куала, в судебных актах часто «шалаш») — традиционная родовая или семейная святыня удмуртов: бревенчатая постройка без потолка и окон, с очагом посреди земляного пола и священной полкой (мудор*) в углу, где

хранились воршудные святыни и совершались моления верховному богу Инмару и духу-покровителю рода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.